



Татяна Соломатина

Кафедра А&Г

«Автор»

2010

Соломатина Т. Ю.

Кафедра А&Г / Т. Ю. Соломатина — «Автор», 2010

«Кафедра А&Г» не книга «о врачах». Нет здесь боли и крови пациентов – зато есть кровь простодушной Дуси Безымянной, которая в один из дней поняла, что все свое у нее уже было, и больше ничего своего у нее не будет... Нет здесь шприцов и скальпелей – зато есть неуместный в деле родовспоможения секционный нож, предназначенный для вскрытия мертвой плоти, который в один из дней перережет петлю на шее достаточно молодой еще жизни... Это и не книга об ученых, сколько бы раз ни упоминались в ней кандидатские и докторские, степени и звания, профессора и академики. «Кафедра А&Г» – долгий разговор о людях: о любви и ненависти, об амбициях и лени, о желаниях и разочарованиях. Это словесный фарс, представление в прозе, художественная ложь. Но в ней – жизнь! А жизнь – «самое интересное расследование, потому что поиск главного подозреваемого всегда приведет вас к самим себе. К вашим рогам, вашим крыльям, вашим перинатальным матрицам и вашей собственной, самой главной науке – знанию о самом себе».

© Соломатина Т. Ю., 2010

© Автор, 2010

Содержание

Авторское обоснование	5
«А поговорить?..» (Старый анекдот)	7
Кафедра (Начало)	12
Профессорско-преподавательский состав	29
Ректор медицинской академии, заведующий кафедрой А&Г, академик Алексей Николаевич Безымянный	29
Шеф (Anamnesis vitae)	29
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Татьяна Соломатина

Кафедра А&Г

Павлу Быстрову с благодарностью за понимание сути и приятие формы.

Юлии Морозовой с уважением за то, что была одной из первых, и за упрямство.

Владимиру Камаеву с восхищением талантом и дружеской привязанностью.

Академику N с почтением за жестокую науку о настоящей жизни, оценить которую я смогла лишь годы спустя.

Иоганну Вольфгангу Гёте, гениальному поэту и драматургу, страстно желавшему врачевать, но по настоянию отца ставшему юристом, с благоговением.

Комический актёр

.....

Вам отступленья нет, у вас роман.

Представьте нам такую точно драму.

Из гущи жизни загребайте прямо.

Не каждый сознаёт, чем он живёт.

Кто это схватит, тот нас увлечёт.

В заквашенную небылицу

Подбросьте истины крупицу,

И будет дёшево и сердито

Напиток ваш и всех прельстит.

Тогда-то цвет отборной молодёжи

Придёт смотреть на ваше откровенье

И будет черпать с благодарной дрожью,

Что подойдёт ему под настроенье.

Не может глаз ничей остаться сух.

Все будут слушать, затаивши дух.

И плакать и смеяться, не замедлив,

Сумеет тот, кто юн и желторот.

Кто вырос – тот угрюм и привередлив,

Кому ещё расти – тот всё поймёт.

Гёте, «Фауст».¹

Авторское обоснование

Этот роман – от начала и до конца выдумка, самая что ни на есть отъявленная ложь о самом разном. И в том, что касается личностей и жизненных путей исполнителей ролей этой трагикомедии. И в том, что наука – это не яркий ряд великих открытий, а тупое поступательное решение крохотных конкретных рутинных задач. И, конечно же, в том, что учёные – они тоже самые обыкновенные люди, а не мифические существа с крыльями или с рогами и тем более не актёры с раз и навсегда утверждённым амплуа. В романе не будет ни хороших, ни плохих, ни злых. И науки как таковой не будет. Будет кафедра. В смысле – такая простая незамысловатая деревянная тумба, встав за которую тот, кому дано такое право, несёт собравшейся в аудитории публике всё, что его душе угодно, в рамках прописанного в лекционном курсе на текущий семестр. Вот я и несу вам из-за своего письменного стола (чем не кафедра?) этот роман,

включённый в план издательства на текущий год. Мои читатели, конечно, не все студенты, но и института вольных слушателей ещё никто не отменял. В том смысле, что вы равно вольны как слушать то, что я вещаю в ноосферу с этих страниц, так и немедленно захлопнуть книгу. Я же, со своей стороны, как любой более-менее талантливый лектор (рассказчик), обещаю не только бубнить положенное общепринятое, но и постараюсь, чтобы вы не уснули за партами, тщательно конспектируя (или играя в «Морской бой» с соседом) то, что давным-давно изложено в учебниках, пособиях и руководствах. Лектор хорош только тогда, когда у него, помимо книжного знания и дара излагать, имеется профессиональный опыт. В случае данной конкретной дисциплины – художественной прозы – опыт придумывания. И таковой у меня имеется, так что аудитории будет не только полезно, но и нескучно прислушаться (вчитаться) к некоторым ключевым моментам повествования.

Населяют несправедливый мир конкретно этих книжных страниц придуманные многогранные неоднозначные персонажи. И победа добра над злом не состоится. Потому что нет тут ни добра, ни зла, ни, как следствие, войн между ними. Нет никакой сухой теории, а насколько зелено древо жизни – решать не лектору, пусть за него говорит посещаемость. Никаких переключек и «нб», исключительно элективный курс.

Живописуя полотно романа, я не пользуюсь идеально белым и беспросветно чёрным, предпочитая фоновый grey scale, проливая на него яркие краски. Единственная истина этого произведения: я использую русский язык, существующий в действительности. Это обстоятельство, пожалуй, и делает роман похожим на правду. Можно ли это оспорить в суде как факт вопиющего использования порочащих кого-либо сведений? Ну, раз вы это читаете, значит, юристы издательства решили, что подобной возможности законами РФ не предусмотрено, даже если какой-то индивид носит фамилию Безымянный, кто-то из знакомых ваших знакомых пытался повеситься на рабочем месте, а читающий эти строки говорит, думает, врёт и пишет жалобы, письма и смс на том же языке. Благо в нём нет недостатка ни для кого, в отличие от вечно делимых истин в благородных схватках с нехваткой всеобщего блага.

Все совпадения случайны и уходят корнями в египетскую клинопись, эллинскую культуру, мракобесие Средневековья и эпоху Возрождения, не раз уже загубленного. Шутка. Простенький риторический приём для привлечения внимания. Я и далее буду периодически рассказывать анекдоты, сплетни и забавные случаи из жизни, разнообразя подачу выдуманного материала. На самом же деле все имена, фамилии и пара-тройка архетипичных проблем и ситуаций, преподнесённых в этом факультативе, родом из славянско-варяжской вечности с её неизменными, во все века нелинейными вопросами: «Чьих будешь?», «Куда идёшь?», «Сколько стоит?», «Который час?», «Кто последний?» и «А ты кто такой?!».

Я дух, всегда привыкший отрицать...

«А поговорить?..» (Старый анекдот)

Студент

*Простите, я вас отвлеку,
Но я расспросы дальше двину:
Не скажете ли новичку,
Как мне смотреть на медицину?
Три года обучения – срок,
По совести, конечно, плёвый.
Я б многого достигнуть мог,
Имей я твёрдую основу.*

Мефистофель

*(про себя)
Я выдохся как педагог
И превращаюсь в чёрта снова.
(вслух)
Смысл медицины очень прост...*

– Звонит моему папе один его институтский товарищ. Аналогично заслуженный по самое академическое дальше некуда. Из Новосибирска. Болтают о том о сём. И в конце разговора он просит отца, мол, девочка его будет в Москве по диссертационным делам. Его – в смысле он научный руководитель. Ну, и не мог ли мой старик отзыв этой девочке написать, чтобы красивое, отпугивающее недоброжелателей имя для солидности. Папахен отвечает, мол, не вопрос. «Пусть, – говорит, – только «рыбу» привезёт».

– Обычное дело. И что тут такого интересного?

– А то, что эта девочка рыбу и привезла. Здоровенную такую, копчёную рыбу. Вкусную, кстати...

– Господи, да где же такие незамутнённые ещё водятся?

– В сибирских реках, видимо. Мой старик так восхитился, что в кои-то веки сам диссертацию прочитал и собственноручно (!) отзыв написал. И так ей долго руку тряс на прощание, что чуть не оторвал.

– Ну а диссертация-то как?

– Да в пределах средней паршивости, как и положено любой кандидатской. Но батя так проникся, что даже кое-какие замечания карандашиком сделал, чтобы в диссертационном совете не особо придирались. Ну, типа у неё там какие-то противоречивые результаты, которые не обработать, а выбросить ей жалко, ну и чтобы «по-честному», как она выразилась, вся заалев, как артериальная кровь. Очень добросовестная девочка. С рыбой в промасленной обёрточной бумаге. Вымирающий представитель научной фауны.

* * *

– Наука, наука! – Собеседник внезапно рассердился. – Ты уже не маленький восторженный зубрилка, чтобы воображать науку храмом. Нет никакого храма. Даже колоколенки затрапезной. Так что священнослужители ей не нужны. Есть публичный дом науки. Бордель. И борделю науки, как и приличествует подобному заведению, нужна хорошая хозяйка. А также вышибала и бухгалтер. И трудяги, разумеется, которые будут спать не по любви, а потому что это их работа. Что? Не знал? Вот твой гипотетический Шеф и есть такая хозяйка. Работать с ним не хочешь? Тогда иди на окружную науки – на производственную трассу. Потому что бордель науки монополизирован. Так что больше не с кем работать, мой юный друг. И запомни: наука – забава групповая. В одиночку в ней ничего дельного не совершить. Понимаешь, какая штука? Ты, милый юноша, точно так же, как он в своё время, одержим страстями. Только его

страсти были прозрачнее для него самого и потому честнее. Ты или глупец, или лгун! Честолюбец, признавшийся себе в том, что он честолюбец, имеет больше шансов сделать что-либо стоящее, в том числе и для науки, чем мечтатель, скрывший от себя самого истинные мотивы под белыми перчатками фасона «всеобщее благо». Хочешь спасти планету?! Или ты хочешь учёную степень? Венок, замаскировавшийся под лавровый, сорванный с сомнительной репутации оливы, из тех, на которых Иуды вешаются? Привилегии, которые якобы дают слава и деньги? Чего ты хочешь?! Того и другого? Только говори правду! Кто ты? Рыцарь без страха и упрёка или честолюбец, мечтающий о золотых доспехах?

– Я... – молодой человек замаялся. – Я хочу сделать что-то действительно важное. Но мне хотелось бы жить и работать в комфортных бытовых и психологических условиях, не буду скрывать. И хочу, чтобы мои заслуги были оценены по достоинству.

– О! Заслуги... Достоинство... Не с того начинаешь. Путаешь причину и следствие. На первом месте достоинство. И только лишь где-то там, в списке аутсайдеров, – заслуги! Так вы все и делите шкуру неубитого медведя, забыв, что надо сперва отправиться в дремучий лес, потому что в других медведи не водятся, выследить это огромное небезопасное всеядное, затем – уколошить, а после совершить ряд нелёгких кровавых манипуляций по аккуратному снятию той самой шкуры с ещё тёплой огромной туши. И лишь потом приступать к дележу. Но если ты охотник неопытный, то шкура, знаешь ли, достанется твоему наставнику, даже если снимать её будешь ты. Потому что без его чуткого руководства ты шкуру испоганишь! То, что ты участвуешь в охоте, – его заслуга. И ты как минимум должен уметь оценить это по тому самому достоинству. А снять шкуру с убитого медведя, не испачкавшись, невозможно, мой юный друг. И уж тем более – не замарав белых перчаток. Если ты, конечно, не путаешь чистоту одежек с достоинством, заслуги – с выслугой, сердце – с насосом, а душу – с бортовым компьютером под названием «интеллект». Так что сними белые перчатки и выбрось. Зовут в клинику? Читай: «на охоту». Иди. Другого шанса у тебя не будет. Туда дважды не зовут. Сейчас вообще никого никуда не зовут с одним голым достоинством наперевес – сверху спускают. По протекции. За не их заслуги. Нет-нет, и среди мажоров, вопреки расхожим штампам, частенько случаются умные и трудолюбивые, но достоверно ниже, чем в популяции таких, как ты. Да и управляемы вы, бесприданники, гораздо лучше. По крайней мере, на первых порах. Папин звонок не раздается, мама не выведет ржавый бронепоезд с запасного пути. Старая любовница не позвонит своему давно бывшему и не почирикает о «талантливом мальчике», который умеет заправски носить портфель, разыскивать рассол по утрам и авиабилеты в любое время суток, а также – писать научные доклады самого высочайшего уровня. Так что ты, можно сказать, своего рода уникум. Которые, что правда, хоть и бывают брыкливы, но конкретно тот, о ком мы сейчас беседуем, и не таких объезжал, уж поверь! Кого кнутом огладит, а в кого задубевшим пряником с барского стола саданёт. Ты имеешь все виды на успех. Провинциал-честолюбец без единого лишнего гроша в кармане, но с уже наработанной оперативной техникой, подвешенным языком. Гонору многовато, но у любой монеты две стороны, орлом в мир до поры до времени можно и не разворачивать. Считай, что тебе сильно повезло. И это на самом деле так.

– Но если он такой непорядочный, как о нём говорят...

– Кто говорит? Я ничего такого не слышал. Напротив. Ум, честь и совесть данной конкретной специальности на текущем этапе. И если бы не он, не было бы у нас ни криохирургии, ни лазерных манипуляций, ни эндоскопии, ни маммологии, ни успехов в акушерско-гинекологической эндокринологии, и я не говорю уже о такой мелочи, как репродуктивная медицина. Ни много чего ещё. Да и бабки со вполне здоровых богатых буратин ловко придумал грести, частью – в казну общего толкового дела. Ну и себе, конечно, не без этого. Целая индустрия «наладки» перинатальных матриц с его лёгкой руки в гору пошла. Коррекция астрального тела и профилактика коррозии зодиакального знака. Чистка полового апельсина, прости господи! Но и в этом маржа на толковые дела заложена в скрытой строке.

– Да он же сам врач никакой. А уж эти последние «революционные» подвижки...

– В обязанности хозяйки борделя обслуживание клиента не входит. Её дело – организовать процесс к удовольствию всех участников.

– Охотник, не умеющий убивать? Тренер по плаванию, не умеющий плавать? – молодой человек хмыкнул.

– Охотник, обладающий даром выследить, знающий все звериные тропы и животные повадки. Тренер по плаванию, не ставший чемпионом, но вырастивший целую плеяду таковых. Не пытайся соревноваться со мной ни в риторике, ни в софистике. Я однозначно куда лучший «пловец» данными стилями, нежели ты. И куда более меткий стрелок в *указанную* цель. Если понимаешь, о чём я.

– Не очень. Ну ладно. Пусть будет хозяйка борделя, организующая процесс. И по дороге набивающая собственную мошну.

– Это не по дороге. Для него это – одна из целей. А благие дела – те да, те по пути случились. Но ты – не Гор и Анупис, материализовавшиеся в одной сущностной ипостаси, чтобы взвешивать чьё-то ещё живое сердце на предмет обременения грехами. И скажи мне, откуда такой горький сарказм у молодого ещё человека? Ладно я – прожил далеко не лёгкую жизнь, но ты?.. Осуждаешь мошну как таковую или завидуешь набитости чужой?

– Осуждаю.

– Из зависти?

– Исключительно из-за общечеловеческой порядочности, брезгливости и разборчивости!

– Знаешь, одно из свойств истинной порядочности – это когда о ней узнаёшь из уст оппонентов. Что уж говорить о том, что брезгливым в медицине делать нечего! И, в конце концов, я категорически отказываюсь верить в то, что ты всерьёз решил заняться наукой. Ты?! Практик чистой воды – и вдруг кафедра? Получить учёную степень на бейджик, висящий на кармане халата? Да. Это украшает. Но наука?! Коэффициент полезного действия науки ничтожно мал, как бы ты ни хотел обратного. Тупая малоэффективная работа. Решение конкретных мелких задач и твои личные заслуги обыватели могут никогда и не узнать. Да и неинтересно им, что именно ты выяснил роль какой-нибудь амилазы в чём-нибудь и близко недоступном их пониманию. К тому же медицинская наука – дисциплина большей частью эмпирическая. Если она ещё и есть, эта медицинская наука. Биохимия? Есть. Физиология? Присутствует. Оперативная хирургия? Презент. Патологическая анатомия? На месте. Медицинская наука? Кто такая? В списках не значится. Is absent! И, кстати, тема научной работы – это не то, чего жаждет конкретный учёный, тем более не заслуженный. У науки есть направление. И только у направления – финансирование. Такое мизерное, что ты и представить себе не можешь. Да и эти крохи выбить сложно. Все прочитанные тобою книги и просмотренные во времена юношеского романтического энтузиазма фильмы о рыцарях науки – тьфу. Галиматья! Ничуть не лучше сериалов о врачах. Нет в медицинской науке романтики. Тупая механистическая работа. Зачастую – недостоверная, если не сказать сфальсифицированная под ожидаемые результаты в рамках того самого конкретного направления. Для последующего развития или, напротив, в связи с заданием прикрыть лавочку. Это только в легендах молодые Уотсон и Крик, напившись в лаборатории, открыли структуру ДНК. Вот так – бах! – напился и открыли, ага! Высрались, ни разу не надувшись. Кто, кроме них самих и сотрудников данной конкретной и других лабораторий и узкоспециального мирка, знает, сколько за этим стояло тысячекратно повторяющихся малоэффективных действий? И кто знает имена сотрудников той самой лаборатории, а?! Ну, не говоря уже о таком имени, как Розалинда Франклин. Ты знаешь, кто она такая?

– Что-то там слышал...

– Что-то там слышал! Это ты, выпускник медицинского вуза, несмотря на пройденный курс биологии и молекулярной генетики, «что-то там слышал», а в каком ухе звенит – не знаешь. А им, добропорядочным обывателям, вообще по другому органу, что это именно она,

Розалинда Франклин, первая выяснила при помощи рентгенокристаллографии, что дезоксирибонуклеиновая кислота – это двойная спираль, напоминающая винтовую лестницу. Её руководитель срочно собрал экстренное секретное совещание, в котором участвовали, в числе немногих, Джеймс Уотсон и Френсис Крик.

– И что?

– И то. Розалинда в тридцать семь умерла от злокачественной опухоли, а Уотсон и Крик получили в Стокгольме Нобелевскую премию. Воровство? А я говорю тебе – командная работа! Где не всегда тот, кто открыл, может протолкнуть гениальное и заставить работать его на благо прекрасного человечества. Другое дело, погибает ли он от тоски по нереализованному честолюбию, надувшись в углу, или способен если уж не возглавить триумvirат, то хотя бы в лучах славы себе чаю согреть. Ладно. Пример попроще. Что Менделееву периодическая таблица элементов приснилась, знает даже водитель московской маршрутки. А сколько Дмитрий Иванович дум передумал, литературы перелопатил и колб перебил, кто знает? Химики. Да и то не все. И так во всём. Коэффициент полезного действия науки не только ничтожно мал, но и постоянно стремится к нулю, как стремится именно туда всё более-менее толковое. Бестолковое сразу в минус уходит безвозвратно. В общем, я хочу, чтобы ты представлял, на что и куда ты идёшь. И, пока не поздно, остановился. Тему подберём, аспирантуру закончишь заочно, не вопрос. Хочешь заниматься наукой? Бросай всё, и милости прошу в те же Штаты. Было время, когда все гении Силиконовой долины говорили на чистейшем русском языке. В Гарвардской медицинской школе и сейчас частенько можно услышать родную речь. Только вот что запомни: и там мусора и балласта в работе куда больше, чем ты можешь вообразить, начитавшись толстых медицинских журналов. Одна маленькая более-менее разумная статейка – суть квинтэссенция пятилетки по разгребанию авгиевых конюшен. Да и не сможешь ты уйти в «чистую» науку. Хирурги, они без крови засыхают, как лесные фиалки без естественной среды обитания. А хочешь одной задницей и в учёные влезть, и в операционной засесть – готовься к вечному противостоянию и работе обеих половинок на разрыв, со всеми соответствующими запахами и звуками, малоприятными как для тебя самого, так и для окружающих, извини за столь приземлённую аллегорию. Настоящий учёный – он могуч, как мексиканский кактус. Он аккумулирует соки – и экономно расходует. Да и вообще, как по мне, так крепкий хирург лучше любого учёного, а на кафедрах ничего хорошего нет. Ни базы, ни оборудования. Зато есть бесконечные студенты, интерны, клинординаторы, курсанты и прочая суeta суeta, которая над тобой же ещё и издеваться будет. Потому что никто, кроме разве что студентов, не уважает кафедральных. Ты хочешь стать «училкой» в белом халате? Добро пожаловать. Ты хочешь званий, степеней и прочей мишуры? Так натренируй свой язык на высококачественное вылизывание разнообразных объектов, на юление, скольжение и достоверную фальшь. На более адский труд, чем лечебное дело, потому что куда менее результативный, и никакого сиюминутного удовлетворения, ни малейшей эйфории от всемогущества он не приносит. А неудовлетворённое эго таких размеров, как у тебя, бывает, превращается в злокачественную опухоль. Причём отнюдь не в переносном смысле. Но, с другой стороны, как я уже сказал, хотя ты и не обратил внимания на мои слова, я вашу породу люблю, если честно!

– Какую породу?

– Таковую. На всё готовых честолюбцев, желающих вырвать у жизни всё, что можно и нельзя, и немножко более того. Вас, таких, у которых цель всегда оправдывает средства. Вы – вечно свежая кровь плебеев, впрыскиваемая эволюцией в дряхлые вены истинного аристократизма. И чем вы подлее, тем решительнее, менее подвержены страху, стереотипам, выдуманной не вами морали и нравственности. Жизнеспособнее, короче. Я стар, мальчик. Я устал. И я говорю тебе: «Определись, чего ты действительно хочешь! Признайся сам себе!» И мы вернёмся к этому разговору через месяц. И если ты не будешь врать, я напишу распрекрасную рекомендацию, которую от тебя требуют. Но если я почувствую, что ты недостаточнознача-

лен, я и пальцем не шевельну. Плох ты или хорош, главное – не изменять себе. И тогда никто и ничто не изменит тебе. Ни люди, ни обстоятельства, ни то, что неудачники называют удачей. От тех же, кем движут исключительно идеалы гуманизма, толку не бывает, поверь. Потому что нет их, тех, кем движут исключительно идеалы гуманизма. Я – так точно не таков. Моими путеводными вешками были лишь собственное благо и удовлетворение собственными же успехами. То есть, как ни крути, сребролюбие и гордыня.

– Вы, учёный с мировым именем, один из самых известнейших в этой специальности, вы, кого я имею честь называть своим учителем, говорите страшные вещи. Куда же подевалось: «Я московский студент, а не Шариков!»

– Был. Я был учёным с мировым именем. Я был одним из самых известнейших в специальности. А теперь мне горько. И это закономерный исход. Всё подевалось именно туда, куда подевалось, девается и деваться будет впредь – кануло в небытие. В анамнез, если тебе угодно. С тех самых пор, как шариковых стали повсеместно зачислять в полноправные московские студенты. Это не плохо и не хорошо, это просто-напросто так. Закономерный промежуточный исход эволюции. Туда же когда-то канули динозавры, Античность, Средневековье, эпоха Возрождения, Рюрики и Романовы и Советский Союз, в конце концов. Всегда создаётся более сильное что-то или кто-то. Это филогенетический закон. Вселенское правило. И поверь своему именитому, известному учителю: страшных слов и вещей не бывает. Страшны только дела человеческие. Но бесстрашных это не останавливает. И только из бесстрашных выходит что-нибудь действительно дельное, будь то великий теоретик, величественный практик или гениальный Хрен С Бугра. Последнее, знаешь ли, тоже один процент таланта, девяносто девять – труда и толстая длинная чуйка, на которую в ряд усядется двенадцать орлов и ещё один воробушек. И всем места хватит. Пусть даже у крайнего лапка соскальзывает...

Кафедра (Начало)

Фауст

Куда же мы теперь?

Мефистофель

В лобой поход.

В большой и малый свет. И ты не хмурься!

С каким восторгом после всех экскурсий

Ты сдашь по этим странствиям зачёт!

– Алло! Антонина Павловна? Из деканата факультета последипломного обучения беспокоят.

– Да, я, Верочка Николаевна.

– Здравствуй, Тоня. Прими телефонограмму.

– Сейчас, ручку найду! Ничего на столе нельзя оставить, всё исчезает!.. Диктуйте.

– Четырнадцатого октября в учебной аудитории кафедры физической культуры состоится сдача кандидатского минимума по специальности.

– Записала.

– Пусть не забудут клубнику.

– Хорошо, Верочка Николаевна.

– И шампанское. Полусухое. И коньяк приличный. Лимоны, понятно, да? А то в прошлый раз пришли с кофе-чаем и какими-то просроченными конфетами. Ещё и удивлялись потом, почему у всех «удовлетворительно».

– Непременно, Верочка Николаевна, непременно. Такая нынче молодёжь, никаких знаний.

– Как там у вас вообще?

– Ой, одни нервы, а то вы не знаете, Верочка Николаевна. Одни нервы.

– Ну, будь здорова.

– До свидания, Верочка Николаевна.

– Не забудь аспирантам и клинам объявить.

– Ну что вы, что вы, Верочка Николаевна. Обязательно! Опять эндометриозом и туберкулёзом пытаться будут?

– Да нет, Викторина сказала, что большие в профнации не участвуют. Ох, доиграется она, доиграется. Передай, что в дружеской атмосфере. Билеты, конечно, будут, но так, большие для профформы. Так что Костику Дубаренко передай, что может смело идти на сей раз. Тем более у него защита уже не за горами. Если бы Викторина не ушла – фиг бы его вообще к защите допустили, несмотря на папочку.

* * *

Антонина Павловна была лицом материально ответственным. Нет, не так. МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ! Каждый листик формата А4 она защищала, как честь совести и эпоху чести. Казалось, что каждую ручку, каждую лазерную указку она рождает в муках, а не выписывает в бесчисленных количествах по безналу, нынче оплачиваемому фармацевтическими спонсорами даже не глядя. Если что-то ставилось на баланс кафедры – оно становилось безраздельной собственностью Антонины Павловны. Собственностью, которой она с неохотой делилась даже с профессурой. Что уж говорить о несчастных доцентах, эфемерных ассистентах и совсем уж невидимых Антониной Павловной ещё более мелких единицах штатного расписания.

– Тонинпална, откройте святилище! Профессор просил сделать ксерокс статьи! – Новенький аспирантик бросался на амбразуру под зауговое хихиканье опытных и саркастические ухмылки бывалых.

Круглое отёчное лицо её, вечно демонстрирующее миру страдание, перекашивала воистину голгофская мука. Антонина Павловна вставала и уходила к себе, в МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННУЮ каморку. Выходила спустя полчаса, покрытая бумажной пылью, испачканная мелом, чернилами и почему-то прихрамывая. В благоговейной зажатости дланей неся в мир три тощих листа. Двумя пальцами беззастенчиво, как раздавленную насекомую, брала у будущего кандидата медицинских наук журнал «Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов» и входила в помещение, где простаивали в бездействии предметы её религиозного материально-ответственного культа: ксероксы, сканеры, нераскрытые коробки с компьютерами, центрифуги, выписанные лет десять назад из-за границы для лабораторных нужд, да так эти нужды и не удовлетворившие. Доставала из кармана давно уже не белого халата связку ключей. Открывала решётку. Втискивала своё полное тело между металлическими сваренными прутьями и дверью. Закрывала решётку. И только потом открывала дверь.

– Что-то это мне напоминает, – потрясал сигаретой в пространство кафедрального коридора древний Игорь Израилевич, помнящий ещё прямое внутриартериальное переливание крови, коим как-то спас жизнь вертухая в послевоенном лагере «труда и отдыха», как он сам его называл.

Игорь Израилевич был единственным, кому разрешалось курить на территории кафедры. Вернее – не разрешалось, а просто уже рукой махнули. Махнули же, потому как Шеф благоволил ему неизвестно за что и совершенно никому не понятно почему. Старику было позволено всё, и никто не знал, за какие такие заслуги. Кроме, быть может, самого Игоря Израилевича, Шефа и, конечно же, Антонины Павловны. Но эти трое своим знанием ни с кем не делились. Потому что знали это так давно, что уже, похоже, позабыли. Да и не на территории кафедры, если быть точным, курил давно уже пересидевший все пенсионные возраста очень пожилой врач, а в помещении одной из клинических баз. Когда-то именно при этом родильном доме была кафедра акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей и последиplomного обучения. Здесь работали в основном толковые клиницисты плюс-минус средних лет, которым до науки как таковой не было никакого дела. Их интересовали только прикладные её аспекты, нужные в текущей неотложной лечебной деятельности. Появился новый кровезаменитель? Отлично. Пусть бесконечные протоколы клинических испытаний заполняют нищие кафедральные крысы со студенческих баз за свои три сольдо. Куда выгоднее работать в абортарии, в родзале и в гинекологической операционной. Куда «чисто кафедральным» вход частенько закрыт из-за элементарного отсутствия практических умений. Раньше тут быстренько проводили курсы повышения квалификации пару раз в год и обучали интернов. Первым нужно было подтвердить или повысить категорию, последних было не так много, как сейчас, когда хороший терапевт – жуткий дефицит, а плохоньких акушеров-гинекологов – дальнобойная фура с тремя прицепами. Врачи, «повышающие квалификацию», прежде повышали её большей частью непосредственно на рабочем месте, а читать, слава богу, умели и без курсов, так что «усовершенствование» своё воспринимали скорее как кратковременный отпуск. Иные «повышали квалификацию» и вовсе без отрыва от производства, потому что время – деньги. Причём – буквально. По курсу один к одному. Ранее немногочисленные интерны акушеры-гинекологи «прикреплялись» или к конкретному отделению с последующей ротацией, или, если повезёт, к грамотному практикующему врачу, и это, пожалуй, была самая лучшая школа ремесла. Слушай – не слушай, читай – не читай, пока не причистишься таинств собственноручно, ничего ты не знаешь, даже если голова твоя набита теорией, как авоська рачительной хозяйки луком. Но сейчас, в изменившихся условиях, на эту клиническую базу хлынули толпы интернов. Хорошие клиницисты в силу тех или иных причин и

вовсе уволились из медицинского университета, и руководство родильного дома приняло их с распростёртыми объятиями под своё практически-практичное крыло. Что никоим образом не оздоровило обстановку извечного противостояния «кафедралов» и «роддомовских». Короче говоря, на конкретно этой клинической базе ныне единой кафедры остались преподавать почти только глубокие пенсионеры да совсем уж зелёный молодняк. Для прочтения лекций привлекались и асы, но последние не всегда были хорошими лекторами и, кроме всего прочего, вполне могли позволить себе не явиться вовсе. Быть занятыми, например, в операционной. Просто забыть. И тогда совсем не известную ему тему мог нести в мир юный ассистент. Когда небитый учит небитых драться, понятно, что толку от этого будет мало. Когда небитый поучает битых – это и вовсе смешно. И подобной «веселухи» на кафедре становилось всё больше.

Игорю Израилевичу было давно за семьдесят на вид, и его почему-то не увольняли, хотя не был он ни академиком, ни даже каким-нибудь завялящим профессором или запыхавшимся заслуженным деятелем. Доцент, автоматически проходивший по очередному закадровому подковёрному конкурсу, объявления о каковых хотя и печатаются в должное время в положенных высшей аттестационной комиссией печатных органах, но в научном мире давно уже нет наивных чукотских юношей и нанайских девочек, всерьёз собирающих бумаги, узрев анонс подобной «возможности». А сам Игорь Израилевич не увольнялся. Видимо, просто забыв, сколько ему лет и какой на дворе год. Жив, почти здоров, а значит, надо ходить на работу. Хотя и дом у него был, и семья, и любящая старушка-жена, и уже поседевшие заботливые дети, и взрослые внуки, и взрослеющие правнуки. Ходил и ходил себе на службу в условиях нарастающего дефицита ставок, проводил семинарские занятия с курсантами бесконечно растущей на бумаге квалификации, причём совершенно серьёзно отмечая в журналах пропуски и проставляя оценки. Уже давным-давно не оперировал, больных не вёл и даже от консультаций «вживую» отказался. Видимо, уже потихоньку впадал в детство, хотя ум его сохранял пока ещё и былую остроту, и язвительность, и способность соображать куда быстрее иных относительно молодых. И ещё его ценили за опыт. Только глянув кровь в пробирке «на свет», только чуть повозив каплю палочкой по предметному стеклу, он мог выдать заключение, порой точнее лабораторного. Что в экстренных случаях иногда весьма выручало. Естественно, никто потом не писал в историях: «Анализ крови на «тройку» и свёртываемость – Игорю Израилевичу «на глаз». *Cito!*» Но глаз у старика всё ещё был – алмаз. Да и Шеф питал к нему некоторого рода привязанность, что для него было вовсе не характерно. Ну, в конце концов, у каждого своя игрушка. Иногда не плюшевая, а живая. К тому же старик был напичкан максимами Ларошфуко, цитатами из мыслителей Древнего и средневекового Китая, квинтэссенцией трудов Ницше, рифмованными строчками – от Вийона и Пушкина до Бродского и Губермана, а Шеф любил обновлять свой багаж регулярно «носимых» в мир цитат «на все случаи жизни». Вот и курил Игорь Израилевич недалеко от помещения, в котором анестезиологи хранили баллоны с кислородом, задирали старшую лаборантку в расцвете постклимактерия, относительно молодую профессоршу и всех подряд, от курсантов до интернов, коих и матерком любил покрыть. Жену Шефа считал говорящей куклой, любовницу Шефа, похоже, ненавидел, поскольку был с ней изысканно вежлив, если сталкивался. Или слишком любил, а сильная любовь и ненависть порой весьма схожи по органолептическим свойствам. Трудно было сказать, одобряет или нет старик «эту». Столкновений с нею, с пресловутой любовницей, старик тщательно избегал. Сохранял Игорь Израилевич, в общем и целом, мальчишескую задиристость на фоне стариковской мудрости и жажду жизни после двух диагностированных *post factum* в виде изменений сегмента S-T на ЭКГ инфарктов миокарда (сам он, признаться честно, клинически их никак не ощутил и времени возникновения оных припомнить не мог). К Антонине Павловне он, несмотря ни на что, питал в бездонной глубине непонятной души самые тёплые чувства. Ибо грешен был перед ней. Как есть смертно грешен.

– Тоня! Тебе бы в своё время по ментовской тюремной линии пойти – уже бы начальницей женской зоны была, вот тебе крест! – быстро размахивал старый еврей в воздухе своей вонючей сигаретой, оставляя рассеивающийся знак «плюс» в кафедральном коридоре.

– Игорь Израилевич, вы можете хотя бы реже курить? – взвизгивала несостоявшаяся «начальница женской зоны» неожиданно писклявым девичьим голоском.

– Ах, какой же ты красавицей была, и какой милый голос шептал прежде прекрасные глупости. И во что ты превратилась? В старого бегемота, у которого в голосовой щели застряла ржавая дверная петля! – ностальгически нежно глядя на лаборантку, произносил Игорь Израилевич с высоты своих тридцати с гаком поверх Тониных, чем вгонял её в краску, а этот фокус не удавался почти никому.

– Прекратите надо мной издеваться! – голосила та в ответ, и из глаз её слёзы брызгали, как у клоуна.

– Ой-ой-ой! Гром не из тучи, а из навозной кучи! – довольно смеялся мерзкий старик и, шлёпнув Антонину по и вправду раздобревшему заду тощеньким ассистентским журналом, бодро уносился издеваться над кем-нибудь ещё.

Антонина Павловна была старшей лаборанткой. Старой лаборанткой. Вечной лаборанткой. На каждой мало-мальски приличной кафедре есть такая. Они приходят сюда молоденькими, тонкими и восторженными, провалив поступление в высшее учебное заведение, хотя и числились записными школьными хорошистками. Да так и остаются при кафедре на веки вечные непонятно почему. Они взрослеют, раздаются, восторженность сменяется унылой деловитостью действий, запомненных навсегда на клеточном уровне. Старится вечная лаборантка куда раньше ровесниц – буквально на втором году службы, когда она почему-то уже никуда не пытается поступать.

Правда, в данном конкретном случае было «понятно почему». В первый же год «взрослой» жизни Антонины её мать умерла от скоропалительного рака матки. Нетипично молниеносного. Первоначальный диагноз ей поставил именно Игорь Израилевич. Тогда ещё относительно молодой и буйно деятельный во всех жизненных сферах, включая лечебно-диагностическую. Он же и отправил Тонину мать в онкологический диспансер и участвовал во всех этапах лечения, искренне жалея юную девчущку, у которой, кроме матери, не было более никого. Отца своего она не знала – они с матерью разошлись ещё накануне рождения дочери. Тоня попыталась было его разыскать, но у того давным-давно была другая семья, и она, ненужная и неизвестная старшая дочь, так и не решилась нажать на кнопку звонка у дверей его квартиры. Тихонько развернулась и бесшумно вышла из подъезда, сжимая в руках огрызок тетрадного листа в клеточку, на котором чётким круглым почерком сотрудницы ЖЭКа был записан адрес, раздобытый с трепетным упорством сиротливой души. Однако поиски человека, участвовавшего в её создании, заполнили собой некое критическое время и не позволили ей тогда тронуться рассудком. А позже – помог Игорь Израилевич. Заботой, деньгами, теплом и лаской. Несправедливо, ох несправедливо устроен мир! В пастельной картинке мира у каждой девочки есть любящая мама, живущая долго и счастливо с любящим их обоих папой... Но не то картина написана неумелой рукой, не то кто-то закидал дерьмом всю экспозицию выставки «Мир Добра и Счастья», не то просто выбранный творцом жанр оказался ему не по душе. Достоверно неизвестно. Зато известно всем, что несчастные юные девочки, будучи резко погружены в пучину ледяного горя, где они захлёбываются в водоворотах внезапно нахлынувших бытовых проблем и задыхаются в атмосфере ранее неизведанного, с радостью хватаются за протянутую крепкую мужскую руку. Потому что не умеют отличить ещё холодную сталь капкана на самку от тонкой и нежной, но прочной нити, из которой связана отцовская, по своей сути настоящая мужская забота. И нет в том их вины. Не умеют, потому что некому было учить. Иные знания не постигнуть теоретически, исключительно на «наглядных пособиях», которые в

наш мир не завезли в должном для «потребителей» количестве. Да и качество имеющихся не всегда на высоте, увы.

Пару лет юную Тоню всё устраивало. Старейшего Игоря Израилевича всё устраивало куда больше. Материальные потребности у сироты были небольшие – двадцать пять рублей, пару раз в месяц возникавшие на кухонном столе крохотной квартирке на окраине, оставшейся ей от матери, были для неё счастьем. Надо отдать ему «наше большое человеческое» должное – остальное воздадут где положено, – он никогда не дожидался просьб. Покупал зимние сапожки, часто приносил конфеты и шампанское, благо последнее в советском здравоохранении было одной из самых распространённых «валют». Он даже делал шаг в сторону – образчик высочайшего благоразумия, о благородстве и речи быть не может в подобных отношениях, – если на Тонином горизонте появлялся холостой молодой человек. Но Тоня была не из тех, кто любит что-то менять, да и, признаться честно, была глуповата. Она тут же начинала сравнивать вероятного жениха с имеющимся любовником, и делала это так топорно, что ни один, даже абсолютно лишённый ревности и гордости, не выдерживал. Лет десять спустя Антонина поняла, что дело идёт к тридцати, а ни мужем, ни детьми, ни образованием она не обзавелась, хотя на последнем Игорь Израилевич настаивал с завидной регулярностью. Но в год болезни и смерти матери было недосуг, а позже – она разленилась, вспоминать школьный курс и тем более учить что-то новое ей не хотелось. Да и работа её устраивала. На первых порах. И относительно приличной, как ни странно, зарплатой, которая была куда выше жалованья дипломированного инженера, и некоторой мелкой властью. Иным и этого достаточно. И не потому, что честолюбие у них крошечное, а потому что мелкая власть – одна из самых безответственных на фоне легиона мельчайших возможностей. Правда, позже оказывается, что палка о двух концах. Но какая же недалёкая юница об этом думает?

К тридцати же Антонина и вовсе ни о чём не думала, кроме замужества и деторождения. Старейший Игорь Израилевич уходил от намёков, как матёрый волк от неумелого охотника. Ровно в тот день, когда она высказала ему свои пожелания прямо, краснея и теребя в руках его опавший старый член, он рассмеялся, сходил в душ, оделся, сварил кофе, разлил его в две чашки, отпил глоток и сказал:

– Прощай, Тоня. Мне было с тобой хорошо. Ты скрасила мою наступающую старость. Ты оказалась глупее, чем казалась. В первые годы я думал, что к сожалению, а в последнее время понял – к счастью! В любом случае наше «сотрудничество» было взаимовыгодным. С твоими интеллектуальными и внешними данными никого лучше, чем «пьёт, бьёт, но зато свой», ты бы не нашла. А мне на старости лет никто умнее и красивее тебя не дал бы. Так что у тебя был пусть и чужой, но действительно стоящий, минус носки и храп по ночам. А у меня была пусть не роковая красавица, зато молодая, минус бытовые дразги и младенческие сопли. Ты стала глупеть и стареть куда стремительнее меня, но у тебя всё ещё есть время, чтобы найти себе кого-нибудь по себе. Спасибо, дорогая!

Он допил кофе, положил чашку в мойку и ушёл, весело крикнув на прощание:

– Не провожай, я захлопну дверь!

Тоня так и сидела, открыв рот и, похоже, не в силах переварить только что услышанное. Честно говоря, с того самого года, когда умерла её мать, он так много слов подряд не произносил ни разу, хотя в обычной своей жизни – рабочей, семейной и дружеской – был страшный болтун и записной балагур. В Тониной жизни он отмалчивался, получая своё мужское неинтеллектуально-недуховное удовольствие.

Игорь Израилевич открыл сберегательную книжку на предъявителя, куда положил пять тысяч рублей, весьма немалую по тем временам сумму, и откупился от Антонины, на корню загубив её прорастающие мысли о вынесении личной ситуации на суд всегда готовой пошуметь и поразвлечься общественности. Далее в её жизни случались и пьющие, и бьющие, и даже недолго любящие, но что-то в них было не то. Она слишком долго ела дорогой горький

шоколад, и вкус дешёвого синтетического «резинового» мармелада никак не мог его заменить. Нельзя приучать человека к не предназначенному для него. Как нельзя выучить зайца стойке охотничьей собаки. Нет, выучить, конечно, можно, да только такого зайца надо пожизненно держать в комфортабельной клетке и показывать друзьям в качестве забавного фокуса, а в лесу такой нелепый кунштюк ни к чему. Так что самый страшный грех Игоря Израилевича в том и заключался, что «беспородный заяц» Тоня, не успев познать своё собственное естество, обзавелась «пёсыими» повадками. И, мало того, пыталась таких же «зайцев», изначально своих и для неё предназначенных, увлечь не совместным радостным петлянием и прочими положенными этому племени нехитрыми забавами, а позами и механистическим выполнением команд, сути которых она ни сердцем, ни душой, ни головой не осознавала.

К настоящему времени Антонина Павловна была женщиной глубоко средних лет, так и не сумевшей разгадать тайну своего тупого недоумения. Да она и не стремилась. Тупое недоумение стало её естественным состоянием. Потому что у неё произошла вполне естественная подмена данного истинного смысла её собственной жизни смыслом жизни оставшимся. А в остатке было дано следующее: *«Антонина Павловна была старшей лаборанткой. Старой лаборанткой. Вечной лаборанткой. На каждой мало-мальски приличной кафедре есть такая. Они приходят сюда молоденькими, тонкими и восторженными, провалив поступление в высшее учебное заведение, хотя и числились записными школьными хорошистками. Да так и остаются при кафедре на веки вечные непонятно почему. Они взрослеют, раздаются, восторженность сменяется унылой деловитостью действий, запомненных навсегда на клеточном уровне. Старится вечная лаборантка куда раньше ровесниц – буквально на втором году службы, когда она почему-то уже никуда не пытается поступать».*

В распоряжение такой лаборантки регулярно поступают следующие молоденькие, тоненькие и восторженные Алёны, Наташки и Светки. Она гоняет их в хвост и в гриву, они смиренно носят штативы, моют пробирки, протирают столы, надраивают полы и окна. Она носит чай заведующему кафедрой. Молоденькие девочки уходят в большую жизнь, а она в своём раз и навсегда обустроенном мирке всё ещё носит чай заведующему. Или заведующей Елене Петровне, Наталье Николаевне или Светлане Степановне. Вечная старшая лаборантка всё про всех знает. Что, зачем, почему. Кто, когда, с кем. Она помнит, как Юрий Павлович – тот всеми признанный гений оперативной гинекологии – пешком под операционный стол ходил. Она знает, что Ирина Ивановна – ну та, что сделала кесарево собственной дочери, представляете? – на самом деле не бой-баба, а просто Ирка, которая как-то раз рыдала у неё в каморке, потому что от неё ушёл муж, когда доченьке Леночке было всего три годика. Она, старшая лаборантка, лично вынимала из петли любовницу нынешнего ректора. Он тогда как раз развёлся с первой женой и тут же женился во второй раз. А любовница решила повеситься, потому что женился он, увы, не на ней. И почему она решила свести счёты с жизнью именно в ассистентской? Кто её знает? Может быть, из-за того, что именно тут они с шефом впервые толком, «по-взрослому», причастились тел друг друга? Антонина Павловна как раз всё слышала – двери хлипкие, а слышимость в зданиях, построенных после пятидесятых двадцатого столетия, отличная. И не только слышала звуки увертюры, рокот темы и вопль тоники, но и видела – после, – как они, опьянённые необычными ощущениями старых друзей от внезапного совокупления друг с другом, вышли вразвалочку и расхлябанно поковыляли к лифту. Дурачливо пошатываясь, глупо улыбаясь и держась за руки, как дети, что долго-долго ходили в одну группу детского сада, но сегодня в песочнице вдруг впервые не просто посмотрели, но и увидели.

– Ну а потом Ольга уехала в Америку, потому что она умная, не то что *этот*, – нащёптывает вечная старшая лаборантка за чашкой безвкусного чая какому-нибудь молоденькому, но сразу видно, что *вечному* же ассистенту. Всё нащёптывает и нащёптывает. А о петле – только мечтает нашептывать, но что-то внутри, глубоко на уровне подсознания, не позволяет. Поряд-

дочность, из-за которой приличные люди не разглашают особенно страшных чужих тайн, или страх расплаты? Нет. У Антонины Павловны в этом месте её персональной кармы просто стоял блок. И блок этот был стальной и слегка тупой. Обо всём прочем, цветном и плюс-минус не утратившем остроты, она могла сплетничать сколько угодно с кем придётся.

Например, с Любовью Захаровной.

Женщиной «трудной судьбы». (Как будто есть лёгкие судьбы.) Но раз уж существует устойчивое фразеологическое выражение, то отчего бы им не воспользоваться? Любовь Захаровна – женщина трудной судьбы, и легче от принятия этого обстоятельства ей не становилось. Когда-то давно она было просто Любой. И даже Любашей. Для любимого и любящего мужа – мелкого партийного деятеля. Мелкого – по меркам «великих свершений» мира минувшего. Но вполне себе достаточного для благополучной жизни в режиме полнокровного функционирования Союза Советских Социалистических Республик. Любаша вышла за него замуж ещё во времена студенчества и далее отказа ни в чём не знала. Ни в нежелании работать. Ни в желании чем-нибудь заниматься. Потому сразу после института она поступила в аспирантуру, защитила какую-то невнятную, незаметную и незначительную диссертацию в ряду многих и многих в рамках очередной текущей кафедральной темы да и осталась при кафедре акушерства и гинекологии ассистентом. Она наизусть знала биомеханизмы родов, понятия не имея, как всё происходит в природе. Любаша отлично разбиралась в патофизиологии кровотечений, ни разу не узрев собственными глазами, какова она, кровь, струящаяся из человеческого организма, в котором по тем или иным причинам нарушилась регуляция свёртывающей системы. Молодой кандидат медицинских наук могла прекрасно замкнуть замок на ветвях акушерских щипцов, но только в так называемом «фантоме» – условном муляже – обручке женского таза. Подобного рода ассистенты – лишь немного усовершенствованная модель старших лаборанток. Их не беспокоят судьбы человечества, и они этого не скрывают ни от человечества, которому всё равно, ни от самих себя. Их не беспокоит жажда хлеба насущного, при удачном раскладе вырастающая в жажду наживы. Было бы куда наряды выгуливать, купленные не на свои, а на мужнины или родительские. Есть они, такие, коих никогда не понять честолюбцам, самые неудачливые из которых выдумали недавно удобное слово «дауншифтинг» и превратили это всего лишь слово в целую религию. У персонажей, подобных Любаше, есть эго, но оно довольствуется властью над студентами – большего им не надо. Но уж на последних они отрываются по полной. И гораздо позже вчерашний «опальный» троечник, ставший признанным виртуозом родовспоможения, не зло и даже с умильной ностальгической улыбкой, вспомнит:

– Любовь Захаровна?.. А... Любаша... Была такая. Славная тётка. Такая молодая, строгая... серьёзная. Все занятия просиживала с нами в ассистентской. В отделение и не сходили ни разу. Всё зубрили и зубрили. А другая подгруппа из операционной не выходила, потому что Игорь Израилевич оперировал чаще, чем Любаша чай пила. Красивая была женщина. Да...

Действительно, когда-то Любовь Захаровна была красива и ухоженна. Никогда не отказываясь от того, в чём муж не мог ей отказать. Пока не умер. А умер муж Любови Захаровны рано. До развала «совка» было ещё не так чтобы далеко, но и не совсем канун. Что-то там у него произошло. Какие-то неприятности. Электрическая нестабильность миокарда – и привет! Другие, куда более крупные деятели, по три инфаркта переживали и до самого что ни на есть календарного старческого маразма доживали, а у этого – электрическая нестабильность миокарда. Словосочетание-то какое мудрёное. Хуже только «смерть невыясненной этиологии». Как будто у смерти есть происхождение. В происхождении самой жизни уже и заключено происхождение неизбежной смерти. И неизбежные неприятности, закономерно возникающие у ничего не умеющей дамы в расцвете лет, привыкшей жить хорошо. Но внезапно, посреди ничего не предвещавшего «хорошо», потерявшей кормильца, платильца и одевальца, единого в трёх ипостасях. И оставшейся в не обновляющихся более нарядах, с недоходной, как и прежде, работой, весь *смысл* которой заключался в том, что он придавал собственно *смысл* жизни Любове

Захаровны. Не просто проснулась, а проснулась, чтобы пойти на работу. Не просто пришла на работу, а пришла, чтобы учить студентов тому, чего сама не умеет. Ну и цветы полить, если Тоня ещё не успела.

Сын Любви Захаровны – «тоже хорош» – женился на еврейке и уехал в Израиль. Хорошо, что «отец не дожил». Уехать-то уехал, «неблагодарный», однако эстафету содержания матери из рук «не дожившего» отца подхватил. Но регулярно получая «эти деньги», она всё же продолжала ходить на никому не нужную в обновившихся условиях работу. Молча отрабатывала преподавательские часы за всех, не предъявляя «прогульщикам» счета к оплате и по привычке заполняя все необходимые графы в бесконечных журналах, не требуя ничего взамен. Потому её и не увольняли, хотя в пенсионный возраст она вошла пару лет тому. Пока не увольняли. Сын звал её в Израиль. Но она упорно отказывалась, мотивируя это тем, что иврит будет не по силам.

– Представляешь, что мне эта жидовка сказала? – жаловалась вечная ассистент Любовь Захаровна вечной старшей лаборантке Антонине Павловне на свою замечательную, красивую, юркую и безмерно деятельную невестку Маринку.

– И что? – не зная, что сказала «жидовка», но уже заранее возмущённая любыми её текстами, гневно уточняла Антонина Павловна.

– Сказала: «Мама! Зачем вам иврит? Сидите дома, смотрите телевизор, вам всё привезут! Да и на единственном известном вам языке тут есть с кем поговорить, не у нас одних престарелые родственники». Я им уже престарелая родственница, видите ли! Дрянь!

– Какая мерзавка! – заключала Антонина Павловна, про себя осуждая Любашу за дурость и втайне завидуя «этой идиотке», которой предлагают сидеть дома на всём готовом, а она кочевряжится.

– И потом, как я в этот Израиль поеду, если у меня в квартире подшивка «Химии и жизни» за двадцать лет, книг три шкафа, медный таз для варенья, Олежкин горшок и... я что, всё это бросить должна! Или на помойку снести!!!

– Да разве им не плевать на то, что для нас важно?! – осуждающе сверкала глазами Антонина Павловна, а про себя думала: «Да уж, у тебя там, в четырёх комнатах с высокими потолками и антресолями, немало, поди, мусора накопилось, старая дура!»

Мусора в квартире Любовь Захаровны и правда скопилось немало. Она до сих пор хранила парочку старых чемоданов, набитых первичной документацией своей древней, ни тогда, ни сейчас не нужной диссертации. Кажется, это было что-то на тему гиперпластических процессов эндометрия. Как раз в то далёкое «тогда» только-только официально разрешили аборт, и те, кто владел техникой этой вроде бы простой операции, кинулись выполнять их с тем же пылом, с которым прежде выполняли подпольно. Но уже не боясь ранее постоянно маячившего на горизонте «неба в клеточку». Ну а те, кто не умел ничего, но гордо именовался «акушером-гинекологом», погрузились в пучины изучения последствий добросовестных вышкрябываний до хруста и кровавых пузырей. Страна была впереди планеты всей по уровню материнской и детской смертности... pardon, уровню её снижения. Наша медицинская помощь была одной из самых-самых медицинских помощей, надо отдать ей должное, да и женщины наши, как и прежде, были живучи донельзя. Что европейской и американской даме – бюллетень, щадяще выполненная процедура и грамотно расписанная профилактика кровотечения и бактериальных осложнений, то русской женщине совкового периода – тапки, паспорт и абортарий, похожий скорее на подсобку свинофермы, чем на операционную. Пришла, губы закусила до крови, ушла. Вечером – воды наносила, половики вытряхнула, ужин на всю семью приготовила, да и ложись себе плачь-отдыхай на здоровье, сколько слёз в подушку влезет. Ну, и гиперпластические процессы, конечно же. Не без этого. Непаханое поле на огромном клиническом материале. Но тем, кто в клинике пашет с кюреткой в руках, – некогда. Вот такие, как Любовь Захаровна, и теоретизировали, изучая анамнезы, данные клинко-морфологических исследо-

ваний, близкие и отдалённые последствия этой «чудесной» манипуляции. Если, конечно, успевали поймать хотя бы близкие. С отдалёнными было куда сложнее, хотя и приближалась эпоха поголовной диспансеризации – якобы советского ноу-хау, – давно существующей в том или ином виде в более в этом смысле цивилизованных странах. Где ты будешь ту Фросю Иванову с джутовой фабрики искать, чтобы исследовать её недра на предмет гиперплазии, а то и атипии клеток? В медико-санитарной части? Уволилась ваша Фрося Иванова вместе с карточкой, вот и обходной лист в соответствующей графе подписан. Куда?.. В жопу труда! Идите в отдел кадров! Разок, другой, третий, и устанет самый заядлый энтузиаст рыцарствовать во имя дамы по имени Акушерско-Гинекологическая Наука. Потому что в каждую МСЧ надо позвонить, прежде чем прийти, в любом отделе кадров надо высидеть под дверьми, да и не каждый кадровик знает, куда та Фрося Иванова подевалась вместе со своими репродуктивными органами. Не с милицией же её разыскивать. Так что абортiroвали одних, отдалённые последствия изучали у других, стогнали всё это вместе в группы обследования, сравнения и контрольные, удаляя заведомо статистически недостоверные случаи, скажем с летальным исходом, и – вуаля! – диссертация готова. Результаты соответствуют ожидаемым, практические рекомендации – усилить среди населения пропаганду здорового образа жизни, снизить уровень абортoв путём повышения уровня рождаемости. Принято единогласно! Любовь Захаровна и вспомнить-то толком не только название своей диссертации, но даже шифр специальности уже не могла. Но пожелтевшую, отчасти липовую первичную документацию хранила в старых, ненужных, полуманных чемоданах. Ей когда-то строго-настроено научный руководитель приказал хранить пять лет, на случай возможной анонимки в Высшую аттестационную комиссию, потому что муж недавней соискательницы учёной степени кандидата медицинских наук, а ныне – законной владелицы диплома ВАК, подтверждающего получение искомой степени, был на виду. Она и хранила. Хотя уже пятью пять сроков давным-давно вышло. Кроме этих самых, заученных насмерть, гиперпластических процессов эндометрия в соответствии с представлениями о них тысячу девятьсот давнишнего года, Любовь Захаровна и не знала ничего. Хотя виртуозно владела методикой написания протоколов кафедральных заседаний, заполнения ассистентских, лекционных журналов и журналов отработок. Консультируя новичка на предмет сих сакральных знаний, она приобретала вид академически умудрённой дамы и полновесных полчаса чувствовала, что крайне необходима этому миру. Как минимум в этих стенах, как минимум – этому «дурачку» или «дурочке». Как она могла променять это ощущение собственной значимости на какой-то там Израиль? Невестка-жидовка, иврит и взрывы. Что вы! Именно в такой последовательности в её сознании были расставлены приоритеты опасности неведомой страны, куда уехал сын. Мусор же, накопленный в квартире и наглядно демонстрирующий своей полновластной владелице, что жизнь прожита не зря, был вне приоритетов. Над приоритетами. Подшивки старых журналов, бесчисленные квитанции (включая ежемесячную оплату ДМШ по классу фортепиано учащегося Олега Свердлова, ныне гражданина Израйля, с 1965 по 1972 г.), ноты, по которым уже никто никогда не сыграет, расстроенное пианино, заваленное хламом, заставленное статуэтками с отбитыми носами и разной степени покалеченности слониками. Медный таз, варенье в котором последний раз было сварено в начале восьмидесятых, и всё прочее, что давно удалено с антресолей даже самыми непрогрессивными слоями населения, составляли смысл бытия Любви Захаровны наравне с ощущением временного могущества над пропустившим занятие интерном. Изредка свежие нотки в «забубённое» существование вносили юные ассистенты, позволявшие – из вежливости или по неопытности – брать престарелой вечной ассистентке над собой «шефство». Позже вежливо (или не очень) посылающие её куда подальше или относящиеся как к неизбежной сопутствующей форме жизни – назойливой кафедральной мухе, проснувшейся вместе с началом отопительного сезона. Почему-то с началом именно этого сезона и до самого его завершения Любовь Захаровна торчала на кафедре куда дольше, чем того требовала её почасовая сетка, включающая работу за «лентяев»

и «карьеристов». Поздняя осень, зима и начало весны – тягостное время для одиноких. Не с кем им переругиваться из-за занятой по утрам ванной, некому ловить их убегающий кофе, а чаепитие с телевизором долгими тёмными вечерами несуетно настолько, что начинает походить на анабиоз, из которого сам не выйдешь, а вывести некому. Страшно. И хотя Любовь Захаровна была старше Антонины Павловны и вечным ассистентом, а Антонина Павловна – соответственно – моложе и всего лишь вечным старшим лаборантом, но между ними около десятилетия назад возникло некое подобие дружбы, ограниченное кафедральными стенами и совместными стенаниями, в них раздающимися по любому удобному поводу. Глуповатая сирота с несчастной личной жизнью и прежде неглупая и когда-то счастливая женщина с давно уже «трудной судьбой» странным образом прильнули друг к другу, ни на секунду не став от этого союза менее одинокими и хоть на капельку больше кому-то нужными.

Кроме Любви Захаровны, числящейся в записных подругах, у Антонины Павловны есть любимчики, как и у любой уважающей себя старшей лаборантки. Частенько меняющиеся. Отправляемые в опалу. Из опалы отзывающиеся. Тоже – ассистенты навсегда. До пенсии. С вымученной кандидатской на не только неинтересную, но и никому не нужную, не единожды обсосанную с разнообразнейших ракурсов тему. «Метод лактационной аменореи в профилактике гиперпластических процессов». Сорок сороков уже этих гиперпластических процессов. С отрывом от кандидатской Любовь Захаровны в пару световых лет. Метод лактационной аменореи? Ах, ну то ещё наши прабабки знали. И прабабки наших прабабок. Что знали? Что когда кормишь грудью часто, обильно и долго – «месячные не идут». А раз «не идут», значит, и не забеременеешь. Ну, не всегда, конечно, а только до тех пор, пока перерывы между кормлениями не превышают трёх часов в дневное время суток и шести часов по ночам. До тех пор и не будет следующего «приплода». Но вот чуть-чуть отвлеклась корову подоить, не покормила грудью на ночь, утром опомнилась – а уже всё, привет! Оплодотворена. Гипоталамус разрешил гипофизу, гипофиз дал команду раскрыть репродуктивные шлюзы. Скоро очередного надо выкармливать, и опять, разумеется, грудью. Прабабки прабабок, конечно, не знали таких сложных словосочетаний, как «гипоталамо-гипофизарная система», «органы-мишени», и многих других, но методом лактационной аменореи пользовались вовсю, давая отдых яичникам от овуляции, а детям своим – одно из лучших чудес природы – грудное молоко. Стояли на равной ноге прабабки и прабабки прабабок с современной наукой, ничего нового в дело МЛА не привнесшей, кроме подробного изучения механизмов, да и то не акушерами-гинекологами, а физиологами и эндокринологами, если быть совсем уж честными. Ну и десятка очередных диссертаций в рамках научной темы, в обрамлении направления науки, в ореоле последних инструкций Всемирной организации здравоохранения для стран третьего мира, где овёс всё ещё дорог и где дороги построены для дураков, потому что им и так сойдёт. На дурака, как всем с детства хорошо известно, не нужен нож, особенно если он не дурак, а дура. Немного подпоёшь в нужной тональности, слов ласковых наговоришь – и вот уже на риски наплевать, польза глаза застит.

А тем временем очередная Наташка или Светка спеваются с Антониной Павловной, подписывая себе тем самым ещё один приговор в целом ряду предыдущих и последующих. Ни один честолюбец, ни один лидер не будет планировать диссертацию на никчемную тему, не станет гонять чай и сплетни со старшим лаборантом как с ровней, а то и как с покровителем. Имеющий шансы на успех будет выдумывать интересное даже на совсем уж выжатом материале, изредка позволять старшей лаборантке нашептывать что-нибудь эдакое и, безглаголиво отхлебнув разок-другой дешёвого коллективного чая, отправится по своим делам, бросив: «Приготовьте проектор! У меня на третьей паре лекция для курсантов!» И Антонина Павловна приготовит проектор. Правда, в нём давным-давно перегорела лампочка, и, хотя пятнадцать запасных имеется в наличии, она никому не позволит её поменять. Даже если вдруг сюда каким-то чудом заявится инженер фирменного сервиса – не позволит. Потому что она – лицо материально

ответственное, а всем тут только и надо «чего бы сломать», а она «потом отвечай»! Так что простоит пыльный проектор на столе всю лекцию, а гордец будет показывать аудитории на пальцах и диктовать плохо воспринимающим на слух названия фармакологических новинок курсантам схемы лечения бактериального вагиноза. Или профилактики вертикальной и горизонтальной передачи вируса иммунодефицита человека. А то и чего-нибудь вовсе неудобоваримого для аудирования. Например, ферментные препараты последнего поколения в дозах, далёких от системы СИ.

– Эй, что вы там?! Повторите погромче, почётче и помедленней! – царственно распорядится из конца зала весьма пожилая мадам, которой лет двадцать как пора на пенсию, а не высшую категорию через месяц перед комиссией в областном управлении здравоохранения подтверждать. Но она – мама профессора-хирурга, занимающегося эндоскопическими операциями. Его такса малоинвазивного облегчения человека от немалых страданий, причиняемых желчью, не могущей миновать заваленные камнями протоки, начинается от шестисот удобных единиц приятного зелёного колеру. Потому маменька его будет курсисткой, ибо нечего! Каждая мамкина женско-консультационная копейка укрепляет мощь совокупного семейного рубля! В прошлом году старушка к Новому году собрала пару ящиков спиртного и без счёта коробок конфет разной степени стоимости и несвежести. И сыну было что медсёстрам в отделении и операционной подарить – дёшево, сердито и, главное, внимание оказано. Никто не будет по углам шушукаться, мол, денег куры не клюют, а зимой снега не допросишься. Не те нынче зимы пошли, на всех высококачественного белого снега не напасёшься. Глобальное потепление! Но чем богаты, тем и рады, пусть маманя тоже ещё потрудится для такой радости. Опять же – при деле, внимание получает, не отходя от рабочего места. И невестке мозги не компостирует, и внуков не трогает. Что человек без ремесла? Морока одна для родных и близких.

– Что за сиситижи? Что за абракадабра? Пассатижи, что ли?

– Эй. Си. Ти. Джи. Буквы английского алфавита. Аббревиатура, а не абракадабра, Роза Натановна, – покорно вздохнёт доцент, не представляющий себе подпольного аборта в домашних условиях, в отличие от этого реликта, и пойдёт к доске, чтобы окаменевшим огрызком мела (короба и коробка которого усыхают в материально-ответственной каморке) навечно выпарпать на ней: «АСТГ».

– Мы безо всяких американцев гонорее и сифилис лечили! – громко фыркнет Роза Натановна. – Проверенными методами, отбивающими раз и навсегда охоту совать то, сами знаете чего, в туда, где неведомо что водится.

– Ой ли, Роза Натановна, ой ли? – ехидно пискнет кто-то из коллег. – Никакие методы никогда не отбивали охоту к неизведанному. Вспомните хотя бы корсаров. В каждом порту – своя модная болячка, и никакие мучения, ни даже смерть не заставили бы их отказаться от плотских утех. А дамы наши? Шкрябаются и любят, любят – и шкрябаются. Даже сейчас, когда контрацепции – выбирай на любой вкус и карман. И ладно бы удовольствие получали от акта половой любви. Так ведь нет! Каждая полуторная – фригидная. Вот вам, Роза Натановна, известна радость оргазма? Вы ещё помните, что это такое, или как? Или в ваше время секса не было? Хотя в ваше время, Роза Натановна, похоже, как раз был. Вы небось ещё Лилю Брик выскабливали? Инессу Арманд при синдроме хронических тазовых болей клизмой с ромашкой пользовали?

– Не было тогда никаких этих ваших синдромов! – запрограммированно покупается Роза Натановна на ненавистную современную нозологию, пропустив мимо ушей намёки как на возраст, так и на бурную, полную мужей и любовников молодость. – И этот ваш ВИЧ тоже американцы придумали. Делать мне нечего, на старости лет учить всякую ересь. Понаставили тут мальчишек, лекции читать!

Тридцатисемилетний «мальчишка» мысленно прочтёт какую-нибудь отборную матерную мантру и продолжит стоически начитывать материал, не обращая внимания на реликт, ещё минут двадцать возмущающийся американским мировым господством и поминающий добрым ностальгическим словом, увлажнённым старческой слезой, железный занавес. Потому что во времена оны никакой такой гадости и в помине не было, люди были как люди, мужики брюхатили баб, а не занимались друг другом – «Тьфу! Представить противно!» – ничего к нам из «Сан-Францисков сраных» не проникало, а за мужеложество – статья положенная.

– Роза Натановна, не стоит так напрягать воображение и представлять себе подобные противные вашему естеству акты, могущие губительно отразиться на вашей и так уже тронутой возрастным тлением психике, – елейным тоном проговорит доцент, внимательно изучая носок своей кокетливо-кожаной мокасины.

– А вы, Юрий Палыч, женились бы уже, друг любезный, а не студенток бы в авто катали! Как вы были с юности записной бабник, так и померёте бобылём!

– Ну, студенток же, а не студентов, Роза Натановна, так что никаких Древних Римов и Древних Греций и даже Серебряных веков. Один сплошной натурализм, как и положено уважающему себя гетеросексуальному холостяку на пороге сорокалетия. Самый мужской расцвет, между прочим. Я только в пору жениховства вхожу. Но особой охоты жениться у меня нет. От дам в быту один шум, гам и бардак. А я аккуратист. Помады, разбросанные в моей ванной, меня состарят раньше времени, – смеётся доцент.

– За аборт, кстати, тоже было. Положено, – намеренно громко и отдельно шепнёт в пространство аудитории не в меру языкатый курсант.

– На что вы намекаете, товарищ?! – взвётся Роза Натановна праведным возмущением.

– Товарищи все в анамнезе, госпожа Трубник! Да я, собственно, ни на что не намекаю. Я констатирую факт. Во времена вашего репродуктивного расцвета, Роза Натановна, за аборт тоже была положена статья. Лесоповальная. И тому, кому. И этому, кто. Так что тот факт, что вы плечом к плечу с пидорами сосны бензопилой не точили, всего лишь досадная случайность. Жениться же, уважаемая, надо по любви, а не потому, что мама велела и хорошую партию подыскала. Юра у нас вольный стрелок, оставьте в покое чужую личную жизнь.

Роза Натановна багровеет, громко требует прекратить оскорбления, просит измерить ей давление и вызывает о рюмке коньяка для успокоения вегетативных бурь.

– А давление вам работать не мешает? Впрочем, мне бы в ваши сто двадцать лет ваше систолическое сто двадцать! Если доживу, конечно, – не успокаивается саркастичный «товарищ», заведующий той самой женской консультацией, где мадам Трубник имеет честь состоять в штате. Сынок которого – какое досадное не случайное совпадение! – не сдал хирургию именно отпрыску Розы Натановны. – От вашего семейства у кого угодно давление до уровня моря упадёт, а температура тела с температурой окружающей среды сравняется, – бурчит он себе под нос уже значительно тише, вспомнив о пересдаче. Впрочем, всё равно она не будет бесплатной, так что можно и душу отвести немного. Уж сколько времени он атакует горздрав с просьбами уволить гнусную пенсионерку. И уж который раз из городского управления здравоохранения приходит отписка, мол, можем сократить «реликт» только вместе со ставкой. Сокращение же ставки не входит в планы заведующего женской консультацией. Сын без пяти минут выпускник. Ох, проклятый гонор и язык, друг его. Поглубже врага, поглубже до поры до времени. Раз уж под лезть не заточен.

Доцент призывает аудиторию к порядку и продолжает мусолить своих никому не нужных здесь баранов. Эти тут не за знаниями. Эти – за бумажкой. Впрочем, большей части студентов и даже интернов знания нынче тоже ни к чему. Не кормит нынче молодых медицина. Кому везёт – в фармпредставители подаются. Кому не везёт – уж как получится. Вон, парень недавно из интернатуры ушёл, не закончив. Талантливый. На первом же году так в руках всё спорилось, как у иных за всю жизнь не выйдет. Женился. Ребёнка родил. Жить как-то надо, а родители

не очень могут помочь. Ушёл. Встретил его недавно, вроде как случайно мимо больницы шёл. Случайно, ага. За хлебом пошёл на другой конец города. Ностальгия по пижаме и ломка от отмены той неповторимой атмосферы, которая бывает на этой земле только в urgentных опер-блоках. Свадьбы теперь парень фотографирует. Шесть лет учёбы, неоконченная интернатура – и всё для того, чтобы свадьбы фотографировать?

– Нет, Юрий Павлович, – грустно отвечает вчерашний перспективный ученик, – чтобы, простите, кушать.

– Ну, так и тут бы через пару лет на бутерброд с маслом хватило. А через десятку, глядишь, и с икрой!

– Так и жена, и ребёнок, и даже я, Юрий Павлович, сейчас жрать хотим. Пару, а тем более десятку, боюсь, не протянем на воде из-под крана. Я не говорю уже о квартплате, одежде и прочем таком.

«Розы Натановны вымрут, мы постареем, и кто будет этим всем заниматься? А, ладно! Что за стариковские мысли? Полно молодых. Та же Кручинина – вон какая умница – не смотри, что с Шефом спит. Впрочем, и поэтому тоже умница, чего уж там, кто бы что ни говорил. Всё умнее массы бездельников, просящих данные мамой, папой и обстоятельствами возможности».

Доцент отгоняет ненужные мысли и продолжает начитывать материал.

Какой-нибудь из вечных ассистентов в это время пьёт с Антониной Павловной бесконечные чаи и благоговейно внимает.

– Но любила она, Ольга, нашего Шефа, до безумия. Одеда, обула, научила жопу мыть, ножом и вилок пользоваться, а в носу пальцем ковырять как раз отучила. Кандидатскую ему написала. Докторскую вдогонку. Всех его баб терпела. Против жены ничего не имела, как ни странно, хотя с Ольгой он много раньше законной супруги познакомился. Она вроде как сама его не захотела ещё тогда, – скашивает глаза в таинственное «тогда» вечная лаборантка, но быстро замолкает, не то по неполному знанию темы, не то по причине непонятного ей самой табу на тему неведомого «тогда».

Ну вот, – вздыхает она минуту спустя, как бы сожалея, что не может рассказать своему очередному приближённому всё, что хочет, потому что есть такие тайны... Такие тайны! «Ну, вы же понимаете!» – кокетливо поводит она бесформенным оплывшим плечиком. – А потом к нам лаборанткой его Наташка пришла. Нынешняя. Красивая, как кукла. Личико, ручки, ножки. Игрушка! У него крыша и съехала. Он-то и так ни одной юбки пропустить не мог, а тут такая конфетка. Но у конфетки – мама. Мать-командирша. Мама его на своей кукле-конфетке и женила. Пришла как-то с работы внеурочно, а наш-то блядун сорокалетний с её дочуркой такие фортеля на диване родительницы выкидывает, что ни одному эквилибристу не снились. Мама Наташкина вежливо поздоровалась и на кухню отправилась. Железная леди. Чайник поставила на плиту, пока новоявленный молодой профессор – он тогда как раз по конкурсу прошёл только-только – штаны на своё хозяйство лихорадочно натягивал. Скатёрку праздничную льняную с мережками на стол накрыла. Чашечки с блюдечками парадные из буфета достала. Мармелад «лимонные дольки» в пиалу насыпала и говорит: «Прошу, дорогой зятёк, к столу. Чаи погоняем, о делах наших семейных покалякаем. Это ничего, что ей шестнадцать, а вам сорок. Любви все возрасты, вы в курсе, как я только-только имела возможность убедиться. Прямым вылитый Грибоедов! Он, в смысле Грибоедов, что правда, сперва руку и сердце княжне своей грузинской предложил, а после смиренно ждал, а не в койку ташил. И опять же тёща у вас молодая будет. Мне ведь по паспорту на пару-тройку лет меньше, чем вам. Как раз на ту пару-тройку, что за соvrащение малолетних при всех оправдательных обстоятельствах дают. Но мы до таких глупостей не будем опускаться, интеллигентные люди. У нас всегда что? Пар-

тия – наш рулевой в деле морали и нравственности. И профсоюзная организация, помощница её, руководителем которой в вашем славном вузе вы и состоите. Пока ещё...»

Антонина Павловна рассказывала всё так, как будто она сама лично с диктофоном в руках присутствовала на той кухне, где будущий ректор пил чай с будущей тёщей, горько давясь «лимонными дольками». В её арсенале существовало несколько версий соития юной Натальи и Шефа в самом расцвете мужских лет. В её квартире, в его квартире, в её гараже, в его гараже, в его кабинете и даже в подсобке. Но в каждый из вариантов непременно являлась будущая тёща, выдержанная, как космонавт, и спокойная, как удав, с неизменным чаем, льняной скатёркой и «лимонными дольками». Ни один из сотрудников кафедры, более-менее долго проработавший в пропахших этой историей стенах, не мог сдержать хохот при виде льняной скатерти или пресловутого мармелада и начинал судорожно оглядываться, ожидая вхождения в своё сознание образа тёщи Шефа с вечно горячим чайником.

– Так он с Наташкой и живёт. Потому что тёщу пуще министра здравоохранения, контрольно-ревизионного управления и контор по борьбе с коррупцией вместе взятых боится. У неё ещё с того времени, когда она спекулировала в особо крупных масштабах чем под руку подвернётся – от обоев и книг до машин и бриллиантов, – такие связи *там*...

– Где – там? – мог уточнить собеседник.

– Ой, что вы! Не приведи господи! Говорят, даже скупкой краденого занималась. Но это точно не знаю, врать не буду. Только вы уж никому, строго между нами!

Ассистент обещал никому не рассказывать эту и прочие другие истории. И действительно не рассказывал. Потому как не было ни малейшего смысла – байки о Шефе знали все, от уборщиц до профессоров, от кафедральных цветов до роддомовских голубей.

– Ну, сейчас-то у него, ну, вы в курсе, да? Ох, сколько же у него их было, а эта задержалась, ты смотри! Чуть ли не официальная вторая жена, если не первая. Но точно уж любимая. На все конференции с ним катается. Квартиру ей купил. Машину. Ни одной бляди ничего никогда. Фиг с маслом! Ещё и они ему. А *этой* – вот, пожалуйста! Поперёк у неё это дело, что ли? Мёдом намазано? – сокрушалась вечная старшая лаборант.

Будущий вечный ассистент, из тех, кто поумнее, нейтрально пожимал плечами. Совсем нестреляный мог ляпнуть:

– Она... ну, та, которую вы имеете в виду, если я вас правильно понял, очень красивая. И умная. И работает за пятерых.

– Ой, много вы знаете! Чем она работает за пятерых? Разве что этим самым местом! Красивая... Вот Наташка его – та да. Та от природы красивая. Ножки, личико, волосы роскошные. А эту вы лет пять назад если бы увидели – не поверили. Ножищи – тумбы! Она до сих пор в штанах или в длиннющих юбках бродит, хоть и похудела килограмм на тридцать пять, не меньше!

– Я имею в виду на лицо... – уже мямлил из отутюженного окопа борец за справедливое распределение судеб. – Правильные черты. Аристократическое у неё лицо, а у жены, признаться честно, просто хорошенькая обыкновенная мордочка. Особо не выдающаяся. Жена его – лубочная крикливая матрёшка. Елена Геннадьевна же – реально красивая. Прямо Рене Руссо...

– Лицо! Видали мы эту аристократку, как она тут в очереди на отсосать часами высиживала! – резко вставала на дыбы Антонина Павловна и временно вычёркивала глупца, позволившего себе усомниться в канонах лубочной матрёшечной красоты, прописанной у старшей лаборантки на подкорке, из списка приближённых.

Но надо было видеть лицо самой Антонины Павловны, когда *эта*, что «тут в очереди высиживала», изредка появлялась на кафедре. Это было не лицо. Это были кремовые розочки с торта, маслянистый пончик с повидлом, посыпанный сахарной пудрой. Трюфель в белой

шоколадной глазури, политый тягучим ликёром. Глядя на такое лицо вечной старшей лаборантки, хотелось превентивно выпить марганцовки.

– Елена Геннадьевна! Как мы рады вас видеть!!! – Все имеющиеся в наличии «мы» в виде аспирантов и ассистентов тут же отсылались за приличным чаем («Пожалуйста, зелёный. «Слеза невесты»»), итальянской выпечкой и букетом цветов («Только не розы! Она, *эта*, их ненавидит!»). Покупалось, как правило, сезонное. Без целлофана и многоцветного нагромождения ленточек. *Эта* не любила бессмысленные «богатые» упаковки, предпочитая богатую суть. Деньги при этом из кафедрального «общака» на «представительские» нужды забывали выдать. Потом «мы» могли долго ходить с чеками за старшей лаборанткой, но до результата не дошёл ни один. Потому что Антонина Павловна просто кассовым чеком не удовлетворялась. Ей нужен был товарный. И накладная. На розничный чай и выпечку их, как общеизвестно, не выписывают. Не говоря уже о цветах, пусть даже и не розах. Так что квадратики и прямоугольнички тонкой бумаги, испещрённые мелкими символами, подтверждающими, что аспирант или ассистент прикупили за свои кровные «Чай китайский зел. «Нефритовый жезл» – 457 руб. 43 коп.» и какие-нибудь хитро выпеченные булочки с корицей за 269 руб. 00 коп. из итальянской ресторации неподалёку («Парочку купите, не положим же мы на тарелку одну!»), истлевали у особо дотошных в недрах портмоне. Молодняк поумнее при следующем появлении великой *этой* рассыпался по этажам лечебного учреждения, на базе которого находилась кафедра, и не появлялся на территории вплоть до того момента, когда белый «Мерседес», подаренный *этой* Шефом, не растворялся в туманных далях больничных дорог, витиевато ведущих к шлагбауму. Елена Геннадьевна работала не здесь. Она трудилась руководителем центра репродуктивной медицины, созданного специально «под» неё. Дело, надо сказать, благое. Лечили бесплодие и занимались всеми видами экстракорпорального оплодотворения. Так что Елена Геннадьевна, вопреки мнению вечной старшей лаборантки, была не только красивой, но и умной. Не только умной, но и хитрой. Не только хитрой, но и властной. Не только властной, но и чётко отделяющей чёрное от белого. Но при этом умеющей смешивать все цвета спектра в нужные ей оттенки и умело пользоваться ими для писания картины собственного бытия. Она была девушкой работающей, с характером и при должности. В свои тридцать с небольшим добившись таких вершин, какие иным в этой специальности и пожизненно не светят. При том, что из семьи происходила самой обыкновенной, да и связь с отчим домом давным-давно утратила, решив однажды, что если уж помогать не могут, то мешать не будут тем паче. Особенно мама, большая любительница мешать. Папа и сам «отвалился», и уже давно, у него вообще другая семья, и спасибо ему за всё, что было. Елена Геннадьевна Кручинина уже даже была почётным гражданином города и получила из рук мэра медаль «За выдающиеся заслуги перед медицинской наукой и многолетнюю педагогическую деятельность». И пусть иные потихоньку и хихикали над «выдающимися» и особенно «многолетней», но сами ничем таким в пространство особо не выдавались. Выдающимся сплетничать особо некогда и завидовать недосуг. А время – вообще категория относительная. Иногда и час может стать вечностью. В такой профессии да с такой крепко удерживаемой любовью Шефа стаж идёт, как у военных на территории боевых действий: год за три. Как минимум. На эту базу она изредка приезжала поздравить ненавистную и ненавидящую, но уже беззубую и даже, можно считать, обезглавленную профессора с днём рождения (один раз в год, получить удовольствие), несколько лекций по репродукции прочитав (пару раз в семестр). Ну и так, в гости (или по женским делам) к одной-единственной подруге, никакого особенного отношения к кафедре не имеющей – так, ассистент по совместительству. Слава богу, не в этом вузе училась и вообще не в этом городе. «Понаехала», как и Кручинина, но позже. И не за синей птицей вообще гоняться, а просто замуж вышла по большой и чистой любви за столичного жителя и просто делала своё дело. Совершенно разные, но одинаково успешно реализованные приоритеты каждой делали эту женскую дружбу

непохожей на прочие. В отношении *этой* и её подруги не было профессиональной затаённой ревности, так свойственной среде дружащих коллег.

Белый «Мерседес» с «блатными» номерами, запаркованный под родильным домом, приводил как лично Антонину Павловну, так и всех остальных сотрудников данной клинической базы в состояние повышенной боевой готовности. Сама аура, исходившая от Елены Геннадьевны, будоражила застоявшуюся кровь *этих* яркой завистью к чужой удаче, чужим успехам, всегда несправедливо – на *их*, *чуждой* взгляд, – полученным. Произведённые в бесконечном никчемном ненавистном множестве *Чужие* никогда не поймут мотивов бесстрастного рационального *Хищника*.

Формально это была главная клиническая база ныне единой кафедры акушерства и гинекологии.

Ранее существовали кафедры акушерства и гинекологии № 1, № 2, № 3, а также кафедра акушерства и гинекологии стоматологического, педиатрического и даже санитарно-гигиенического факультетов. На каждой царил свой заведующий, в каждом монастыре был плюс-минус свой порядок, ровно до тех пор, пока ректором не стал тот, кто стал, – самый молодой заведующий неприметной и небольшой кафедрой акушерства и гинекологии факультета последипломного обучения. Честолюбивый лидер объединил все удельные княжества и стал во главе не только медицинского вуза, но и объединённой, огромной, как империя, кафедры акушерства и гинекологии. Или, как с лёгкой руки Шефа стали писать во всех, даже официальных, бумагах: «*Кафедры А&Г*». Бунт многочисленных бывших заведующих, мгновенно превратившихся в обычных профессоров, был жестоко подавлен торжественными отправлениями на заслуженную пенсию, сокращением ставок и прочими методами, кои в изобилии открывали административные возможности при виртуозном умении ими пользоваться. Последнее среди действительно чисто «учёных мужей» – большая редкость. Не любят вникать. «Выше этого». И вообще! Шеф человеком «вообще» не был. Он был служителем частных, филигранно дифференцируя и невозмутимо беря интеграл из чего и кого угодно.

– Что же вы опаздываете? Нехорошо! – выговаривала, как школяру, Антонина Павловна заслуженному врачу, дважды академику и четырежды члену-корреспонденту Борису Яковлевичу, прежнему заведующему кафедрой № 3, посмевавшему опоздать на работу. Мелким служебным орудием она была отменным и с неожиданной для мирного населения точностью укладывала снаряды на безмятежные головы, как по наводке артрязведки. Пли! – и выговор Борису Яковлевичу за «нарушение трудовой дисциплины», с урезанием сетки преподавательских часов. Что? Рабочий день у него ненормированный? Это когда он академик или деньги в родзале или оперблоке заколачивает, то день и ночь у него ненормированные. Когда же он в рамках педагогических обязанностей трудится, то очень даже нормированный, любой инспектор отдела кадров подтвердит. И акт составит за нужными подписями.

Антонина Павловна совершала проверочные рейды по негласному распоряжению Шефа, безумно гордясь этой сомнительной чистоплотностью службой. И никто из дельных, а то и гениальных умов, славных своим диагностическим предвидением, безупречной оперативной техникой и умением выходить самую тяжёлую пациентку, не мог предугадать, на какой из баз скрипучая поступь Антонины Павловны сегодня зазвучит и чем для любого из них отзовется. Раб, получивший крохотную власть, не страшен. Страшен тот, кто дал в руки рабу хоть малейший инструмент управления судьбами. Но тот, кто вовремя дал и своевременно отобрал, не страшен, а целесообразен.

Включалась в бой и артиллерия калибром покрупнее административной. Бабах! – и уважаемая мировой гинекологической научной общественностью за работы в области туберкулёза женских половых органов Викторина Феодоровна вылетает из членов Диссертационного совета. Вернее – хлопает дверью по собственному желанию, потому как оттуда не выйдешь

просто так. В комнате, для того чтобы кто-то вышел, иногда просто достаточно создать не совместимый с жизнью отдельных индивидов климат, неповторимую атмосферу взяточничества и вранья, коей всегда дышит научный мир, но если превысить допустимые концентрации, то не каждая формула крови изменится. Особенно голубой, аристократической, «принципиальной». Ну а там и врачебные ошибки в особо крупных масштабах. Их же совершают только те, кто работает в эквивалентных же масштабах. Безруких и безмозглых бездельников увольнять не за что – они непогрешимы в силу целого ряда обстоятельств: отсутствия инициативы, практических навыков и умений. Факт недопущения к работе лечебной исключает факт врачебной ошибки у подобных «учёных». Вся их жизнь – методички, студенты и надувание щёк. Из таких граждан отлично формируется котлетная биомасса, готовая в любую мясорубку за шеф-поваром, увеличивающим им преподавательские ставки. На первых порах. На последующих – пожираемая, как и любой фарш, более блатными ассистентами, доцентами, а там – глядишь – и молодыми профессорами, всего десять лет назад окончившими интернатуру. Как?! Как может вчерашний мальчишка, с неба звёзд не хватавший, сегодня заведовать кафедрой онкологии?! Вот так. У него дядя – «овощной король». «Бабло рулит» – грубое словосочетание, тем не менее точно отражающее ситуацию продвижений в современной науке. О, не только в ней, конечно же! Но и в ней. Что особенно страшно, когда речь идёт о науке именно медицинской. Нет-нет, отнюдь не все протекционисты бездарны и ленивы. «Ведь есть у тузов молодцы – сыновья. Да-да, я всё знаю, я сам, брат, из этих. Но в песне не понял ты, увя... ничего». Рулит бабло. Потому что при старом заведующем не было на базе такого современного оборудования, поскольку стоит оно столько, что ни в сказке сказать, ни пером отечественного бюджета не прописать. А при новом – есть. Подарили. От организации аграрной организации минздравовской. И с куда меньшим скрипом, чем обычно. Да и мало ли кто вчера мальчиком был? Сегодня – дядька как дядька. Щёки, пузо, докторская диссертация – всё на месте. Слова умные выучил не хуже других. Времена меняются, и с ними меняются кадры. Картина маслом от мастера всем известного направления «Сон рыбы о собственной экстраполяции».

Огромная единая кафедра А&Г, на которой к моменту описываемых событий было невероятное количество неопрофессоров, свежеспечённых доцентов, легион юных ассистентов и мириады аспирантов, неповоротливо захлёбывалась, заваленная непомерно разросшейся командой и прочим балластом по самую верхнюю палубу. Зато с капитанского мостика одинаково сиятельно улыбался пассажирам, розе ветров и даже глубоководному планктону вечно молодой, вечно красивый, вечно коммуникабельный рубаха-парень, обаятельный и обворожительный заведующий. Доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, почётный изобретатель и лауреат государственных и международных премий. Он же – ректор, он же – действительный член пары-тройки отечественных академий и почётный член с пяток-другой академий заграничных. Алексей Николаевич Безымянный. Вдохновитель, революционер, зачинатель научных школ и создатель клинических баз, организатор медицины и философ-энциклопедист-фундаменталист-гуманист. *Quod non est paululum dicere.*² И прочая и прочая и прочая вечная слава, непреходящие восторги, восхищения на грани экстаза, затаённые томления, слёзы эйфории, закатанные в благоговеющие черепа и воздетые к небесам исполненные благодарности очи. Не человек, а сплошной толстый пласт сладкого мармелада. И не дай бог куснуть чуть глубже и почувствовать вкус начинки этого матёрого манипулятора, именного простецки-уважительно: ШЕФ.

И ещё раз с уважительным придыханием: **ШЕФ!**

Школы его были дутые, научные заслуги – липовые, доброта – показушная, а знания – поверхностные. Но он был априори неоспоримо и безусловно гениален. Это даже не обсуждается.

² А этим немало сказано (лат.).

Профессорско-преподавательский состав

Ректор медицинской академии, заведующий кафедрой А&Г, академик Алексей Николаевич Безымянный

Мефистофель

*Да, странно этот эскулап
Справляет вам повинность божью,
И чем он сыт, никто не знает тоже.
Он рвётся в бой, и любит брать презрады,
И видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звёзд в награду
И лучших наслаждений у земли,
И век ему с душой не будет сладу,
К чему бы поиски ни привели.*

Шеф (Anamnesis vitae)

Алексей Николаевич Безымянный родился в 1947 году в деревне Чузунки Навозного района Нечернозёмной области. В 1971 году окончил лечебный факультет Самого Престижного медицинского института имени Основоположника Очередной Основы. Работал сиюминутным старшим лаборантом, быстро проходящим ассистентом, юным доцентом, молодым профессором. С 1986 года заведует Кафедрой А&Г Самого Престижного медицинского института имени ООО (ныне – Академии того же имени).

По состоянию на июнь 2009 года, А.Н. Безымянный – Член Президиума АМН РФ и Большой Член Международной академии имени Будды. Глава не особо, признаться честно, проблемной комиссии «А&Г» МЗ и АМН РФ. Межведомственный член и координирующий член совета АМН и МЗ РФ по фундаментальным и прикладным проблемам медицинской эзотерики, астральной генетики и межзвёздных исследований перинатальных матриц, основатель и директор НИИПИЗДУН (Научно-исследовательского института психики и здоровья уникальной нации), национального комитета по биоэтике, биоэстетике и биологическому положению МПХ (Мужского Полового Икса) на помехи. Почётный член межведомственной комиссии по вопросам тантрической осторожности при федеральной службе православной безопасности и атеистической обороны, член Европейского союза гинекологов-энерготерапевтов, Американской ассоциации гинекологов-ведунгов, почётный доктор труднопроизносимых и плохо запоминаемых зарубежных дворовых университетов и академий полусредней Лиги Хвоща, редактор научных журналов: «Достижения вумбилдинга», «Постигжение мейндьюринга», «Теория йоги и практика тибетской гидроколлотерапии», «Вселенский медицинский журнал для двинутих и продвинутих двинутихи», межпланетного медико-философского журнала «Интегративная антропология гуманоидов и самок гуманоидов», а также издатель глянцевого медицинского журнала «Доказательная медицина для тех, кому нечем заняться» («Evidence-medicine for silly»).

С 1997 года является членом совета директоров Национального фонда социальной защиты государства от матери и ребёнка «Стране нужны не вы!».

Научные работы А.Н. Безымянного являются значительным вкладом в разработку актуальных проблем в А&Г-науке. Особенно в Гэ. Ему принадлежит более пятисот научных

работ, более тысячи – малонаучных и порядка десятка тысяч псевдонаучных. В том числе более четырёхсот монографий, около миллиона фотографий и пятьсот восемьдесят пять патентов на изобретения. Он – заслуженный изобретатель РФ (хотя его авторство РФ до сих пор оспаривается) и двух иностранных государств, в которых установил господство гармоничного мироздания и потому считается их основоположником на доказанно законных авторских правах.

А.Н. Безымянный – основатель и лидер плодотворной и кое-какими местами даже оплодотворённой научной школы, достижения которой хорошо известны отечественным и иностранным специалистам. Где сами специалисты, которым это всё хорошо известно, неизвестно. Под руководством А.Н. Безымянного защищены сто сорок четыре докторские и пятьсот пятьдесят пять кандидатских диссертаций, в настоящее время под его руководством выполняется ещё триста тридцать три докторские и семьсот семьдесят семь кандидатских диссертаций (в основном по нумерологии акушерства, ноэтике репродукции и гинекологической эзотерике – новейшим революционным направлениям в А– и Г-науке). Алексей Николаевич является также инициатором разработки околонаучной программы «Проблемы отцовства в современных бездуховных условиях», которая поддержана советом МЗ, АМН, ФСБ и лично службой безопасности Президента РФ, США и персональным камердинером королевы Великобритании.

А.Н. Безымянный награждён отечественными орденами и медалями, государственными и частными премиями, лавровыми венками и Золотым Берёзовым Веником, венчающим Усечённую Серебряную Пирамиду – высшей наградой международной ложи масонов «За приумножение своего добра на Земле». Ну и так, по мелочи: Президентской Медалью университета им. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США); высшей наградой Польской Академии Медицины «Большая золотая звезда»; Большой Золотой медалью Альберта Швейцара; Медалью Гиппократ (Всемирный фонд Гиппократ, Греция); отличием «Socrat award» (Великобритания) и женским половым органом, отлитым из чистого золота в натуральную величину (от органов национальной безопасности).

В последние годы Алексей Николаевич Безымянный активно разрабатывает концепцию «Моя реальность», которая призвана регулировать взаимоотношения ноосферы с ним лично и значительно улучшить карму его банковского счёта.

*Carmen horrendum!*³

* * *

Родился славный карапуз Алёшка вовремя и здоровым где-то в далёкой от мест нынешних взрослых перипетий Алексея Николаевича деревеньке. В послевоенном году. Мама его была в меру некрасивой простецкой сиротой, а папы у него не было. Естественно, что ни о каком непорочном зачатии речь не идёт. Чей-то сперматозоид успешно атаковал в должное время яйцеклетку, выработанную в положенный срок яичниками его юной будущей матери, но более ничего её память – ни ментальная, ни духовная – о биологическом родителе сына не сохранила. Даже имени, не говоря уже о фамилии. Отчество Лёшке было дано в честь директора детского дома, где Дуся Безымянная выросла. Односельчане предполагали, что отцом мальчика был, вероятно, кто-нибудь из геологической партии, изыскивавшей тут неподалёку какое-то полезное ископаемое. Очень даже может быть. Потому как появился на свет мальчишка в начале июня. Месяц сей, если верить календарю, аккурат девятый (а если больше доверять Луне и акушерскому исчислению – то десятый) по счёту от того сентября, к которому партия свернулась и покинула эти благословенные своей относительной малонаселённостью места. Кому из бравых геологов так глянулась Дуся, даже предположительно было неизвестно. Шофёру, посещавшему местное сельпо? Нет. У этого была «официальная» пассия. Да с таким

³ Песнь, наводящая ужас (лат.).

характером, что бессловесную Дусю разнесла бы в пух-перо и подушку из неё набить не погнушалась, в случае «если». Неужто кому-то из учёных или студентов пришлось по вкусу? Некрасивых женщин не бывает, как общеизвестно, особенно в условиях длительного вынужденного полового воздержания, а спирта в те времена у геологов было предостаточно. К тому же Лёшка был куда красивее как «партийного» шофёра, так и местного генетического материала и, что было особенно удивительно, намного умнее всего вышеперечисленного.

Первые года три сынок являлся для Дуси бесконечным источником чистой, незамутнённой радости. Подрастая, он начал пугать свою добрую простоватую мамку, но восторг её ничуть не ослаб от страха, напротив, трансформировался в поклонение. Речь мальчишки была слишком осмысленна для такого маленького ребёнка (вернее сказать, для данной местности вообще и для Дуси Безымянной – в частности, не слабоумной, но не слишком, мягко говоря, образованной и какой-то беспричинно довольной всегда и всем до самой крайней границы бытового идиотизма). Малыш никогда не хворал, хотя родительница частенько пускала с ним бумажные кораблики в океан-море близлежащей холодной лужи, брала его с собой, босоногого, в коровник, где он важно разгуливал посреди грязных по пузо коров, деловито осматривая всё, что подвернётся. Голову венчали ангельские белые кудри. На лице его аккуратно красовался всегда чистый прямой носик. Отсутствие постоянной буквальной привязанности к мамкиной юбке – он мог и отойти на пару метров – создавало иллюзию самостоятельности. А проникновенный взгляд небесно-голубых очей на любое «идёт коза рогатая», в глаза и чётко артикулируемое проникновенное «спасибо!» за любую мало-мальскую ерунду вроде поломанной бельевой прищепки сделали его любимцем всех окрестных баб. Чьи собственные отпрыски были вечно сопливы, и речь их чуть не до самой школы была малоосмысленна, зато пестрела разнообразными междометиями, впитанными с первыми подзатыльниками.

– Какой пацан! – восхищённо присвистывали даже мужики-механизаторы, далёкие от сантиментов, когда Лёшка протягивал им крохотную ладошку для рукопожатия, делая серьёзное лицо. – Не смотри, что выблядок! Моя вот нарожала бестолочь всякую. При законном муже могла бы и расстаться.

«Моя вот» начинала, как правило, возмущаться, мол, от осины не родятся апельсины и бракодел тут не она, а как раз кое-кто тут, с некондиционным кое-чем. Именно тем, чем дети делаются. Дуся только восторженно улыбалась, не замечая, как пытливый мальчонка внимательно вслушивается в посторонние семейные разборки и вежливо уточняет: какие они, апельсины? Как именно делаются дети и зачем в этом деле мужик с кое-чем, если у мамки нет мужика, а он, Лёшка, как раз есть?

«Всякая бестолочь», вертящаяся тут же, радостно ржала, называла Лёшку дураком и свысока рассказывала, что дети делаются хреном. Мамы-доярки и папы-трактористы горделиво улыбались, всё одно не забывая погладить Лёшку по белокурой головке. За всеобщую любовь и невзлюбила «всякая бестолочь» маленького Безымянного самой из злых и жестоких нелюбей – детской. Никто из мальчишек не упускал случая треснуть кулачком, а то и пулнуть в него камнем, когда рядом не было взрослых. Но Лёшка от природы был наделён даром быстрого соображения, молниеносной ориентировки в жизненной ситуации, упреждающего реагирования и без взрослых почти никогда не оставался. Везде ходил с мамкой. Никогда не подличал, хотя и мог. Хранил и накапливал драгоценную ментальную энергию. Просто не совался туда, где с ним могло произойти что-то неприятное. Потому что берёт себя и не то ровесников от мамы, не то, что вероятнее, маму от возможных осложнений. Дуся, обычно добрейшая до кретинизма и всё прощавшая всем и всегда, становилась настоящей волчицей, когда обижали её щенка. Ей было всё равно, кто перед ней: чужой злобный пёс, ощерившийся на её дитя, или такое же дитя, посмевавшее крикнуть Алёшеньке что-то обидное. Разборки деревенской мелюзги взрослые обычно всегда пускали на самотёк, но не такова была эта мать. Сын был не только её радостью, но и божеством, и она яростно защищала его от «неверных». Чем, вопреки

ожиданиям, снискала уважение односельчан, относившихся к детям скорее как к домашним животным, а не как к людям. Когда-то, и даже не так, в общем-то, и давно, всё связанное с маленькими людьми воспринималось проще, и ничего плохого в этом не было. На селе испокон веков уважали животных. И детей. Наравне с животными. Кормили тех и других, поили тех и других и делали для тех и других уж если не всё, что могли, то хотя бы то, что должны. До поры до времени, естественно.

Безымянная была так неистова в своей материнской любви, что даже за глаза никто не посмеивался, как не смеют испокон веков на Руси потешаться над юродивыми и иеромонахами. Ей не нужен был никто, и ничто ей не было нужно, лишь бы сын был сыт, доволен и, главное, всё время рядом с нею. Её – *свой собственный* сын.

Лёшка как-то незаметно для Дуси научился читать, хотя никаких печатных материалов в материнском доме, кроме нарванных на неровные квадратики передовиц «Правды», «Известий» и «Крестьянки», пригвождённых к дощатой стене нужника, не было. Да и те не Дуся выписывала, а сердобольная почтальонша заносила, прочитав от корки до корки. А уж о книгах и вовсе говорить не приходится. Совершенно непонятно, где, у кого и, главное, на чём научился писать. И в школу – в соседнее село – пошёл записываться сам. Прежде, в одном из июней, с удовольствием уплетая испечённый к сегодняшнему дню рождения матерью пирог с земляникой, спросил:

– Мам, мне исполнилось семь, если я не ошибаюсь в расчётах?

– Семь, – только и сумела вымолвить Дуся в ответ на столь замысловатую словесную конструкцию.

– Очень вкусно, мамочка, спасибо! – сказал Лёшка.

– Ой, дура я, дура, сынок! Чё забыла-то! Дядь Коля тебе газировки из райцентра привёз, я сейчас, мигом! – и унеслась в свой крохотный погребок за диковинной водой с пузырьками в стеклянной бутылке, которую сосед по её просьбе привёз ещё месяц назад. Там же был припрятан подарок для Лёшки: прописи в косую линейку, несколько чистых тетрадей, ручки, карандаши и несколько ярких детских книжек. Лёшка подарку очень обрадовался, обнял и поцеловал мать, от чего та впала в благоговейный транс. Не потому, что он её редко обнимал и целовал, напротив, он чуть не с младенчества усвоил тезис, услышанный на той самой ферме из бабских разговоров: «Ласковый телёнок двух маток сосёт». Хотя женщины, судя по всему, имели в виду вовсе не теоретическое животноводство, а как раз практическое человековедение. Просто Дуся каждое сыновнее объятие и каждый Лёшенькин поцелуй воспринимала как первый и последний дар божий. Первый и последний дар каждое утро. Первый и последний дар каждый вечер. Бесконечная вереница первых и последних даров в течение бесконечных семи лет с маленьким хвостиком. Потому что в самом конце августа, проснувшись как-то утром, сын поцеловал мать, умылся, оделся тщательнее обычного и за завтраком обратился к ней с просьбой:

– Мамочка, дай мне моё свидетельство о рождении.

– Что? – испугалась Дуся.

– Я спросил у почтальонши тёти Кати, что нужно сделать, чтобы записаться в школу. И она сказала, что оно и нужно. Свидетельство о рождении, – терпеливо повторил маленький Лёшка и погладил неразумную мать по щеке. Вот уже год, как он испытывал к ней какую-то щемящую нежность, малохарактерную для столь юного возраста в среднем по детской популяции. Погладил, и нежность как-то сразу прошла. Ему вдруг стало за мать очень спокойно. У него возникло мимолётное ощущение того, что он взрослый мужчина и никакой матери у него нет. Ерунда, конечно. Ни один маленький семилетний мальчик не может ощутить себя взрослым мужчиной. Никто в это не поверит. Тысячи и тысячи людей, ныне живущих на этой планете, верят в то, что, определённым способом дыша, они могут узнать, что там у них, в подкорке. Они же, эти тысячи, не сомневаются, что «*символическим выражением проявившейся*

полностью первой клинической стадии родов становится опыт отсутствия выхода из ада. Он включает чувство увязания или пойманности в кошмарном клаустрофобическом мире и переживание необычайных душевных и телесных мучений. Ситуация, как правило, представляется невыносимой, бесконечной и безнадёжной. Человек теряет ощущение линейного времени и не видит ни конца этой пытки, ни какого-либо способа избежать её. Следствием этого может стать эмпирическая идентификация с заключённым в темнице или концентрационном лагере, с обитателями сумасшедшего дома, с грешниками в аду или с архетипическими фигурами, символизирующими вечное проклятье, такими, как Вечный Жид Агасфер, Летучий Голландец, Сизиф, Тантал или Прометей». ⁴ Но разве хоть один здравомыслящий человек из этих тысяч и тысяч поверит в то, что семилетний деревенский мальчик почувствовал себя взрослым мужчиной? Разве что как в фигуру речи, не более.

Дуся, конечно, знала, что его, Лёшку, пора отправить в школу в этом году. Даже приходили не то директор, не то какая-то тётка из районного отдела образования с загадочным для Дуси списком, где числился и её сын, Алексей Безымянный. Но как-то всё тянула и тянула до последнего, не идя туда, ничего не уточняя и ничего не отвечая на вопросы односельчан. Она была не в силах себе представить, что он хоть сколько-то времени будет где-то там, без неё. Неосознаваемый и оттого ещё более ужасный, первобытный звериный страх одиночества был у неё в крови с самого детства, но сейчас, когда у неё был сын, ужас не утих, а, напротив, – достиг своего апогея. Кто она, что она, откуда она, почему она и, главное, зачем она – Дуся Безымянная понятия не имела. Она знала лишь детский дом. Да, там кормят, там есть постель, и посреди разных нянечек – и добрых и злых, и драчливых и заботливых – иногда появляется божество – директор. Но ему, как и любому божеству, молились многие. На крепком мужике разом повисали гроздья детей. Потому что от него пахло настоящим домом, таким домом, где не только дети, а раз и навсегда чьи-то *свои* взрослые. И чай там не пахнет венником, и закусывать его не надо дубовым рафинадом, и не в столовой под противными лампами его пьют, а в красивой комнате под уютным абажуром, и к чаю подают вкусное густое варенье в красивых розетках. Вот и висли на нём эти гроздья. И хороших и плохих, и задира и молчунов. Его боготворили все. Но маленькой Дусе было стыдно выпрашивать любовь. Особенно у того, кто всеми любим. Она всегда тихонько забивалась в угол, откуда сам директор её однажды и вытащил. Цапнул своими сильными пальцами за шиворот, поднял, поцеловал и сказал:

– А кто это у нас тут в углу прячется? Тут все свои. Где все свои – там прятаться нет нужды!

И повёл к себе домой, держа за руку. И Дуся впервые в жизни была счастлива, даже не пытаясь понять почему. Просто в солнечном сплетении, там, куда больно бьют старшие мальчишки, вдруг разлился не обычный ужас предчувствия удара, а бесконечная беспричинная радость, и Дусе казалось, что, не держи Николай Алексеевич её за руку крепко-крепко, она улетит, и даже руками махать, как крыльями, не придётся. Она просто оторвётся от земли и станет воздушным шариком. Она им и стала, воздушным шариком! И летит за директором, просто он её держит за ручку-ниточку.

Тогда, за директорским семейным столом, она впервые и почувяла, как пахнет настоящий, а не детский, дом. Настоящий дом пахнет *своим*. И своими. У своих в своём доме нет безымянных, нет никого по имени: «Эй ты, шваль!», и каждый свой знает, что Леночка Безымянная ещё и «Пусечка», а Сашенька Безымянный ещё и «Котик». У своих не только одно имя. Не только то имя, что предназначено для записи в важные бумаги и строгие журналы, но ещё и *своё*, домашнее, имя. Имя не для мира безымянных. Имя для мира *своих*. Конечно же, маленькая девочка Дуся Безымянная не мыслила такими сентенциями, но где-то не то в душе, не то в

⁴ Станислав Гроф, «За пределами мозга».

надпочечниках сироты и, конечно же, в том самом солнечном сплетении навеки осталось это внезапно открытое ею ощущение дома, который есть не что иное, как кто-то *свой*.

Дуся-то и слов таких не знала: «абажур», а розетка до того визита в дом Николая Алексеевича представлялась всего лишь и только розеткой. Двумя дырками в стене, куда техничка втыкает штепсель утюга. Как-то детдомовские подружки подговорили маленькую Дусю сунуть в розетку шпильку, оброненную нянечкой, и у неё на всю жизнь остался шрам от электрического ожога на большом пальце правой руки. Похоже, Николай Алексеевич хотел взять Дусю к себе навсегда. Так ей показалось. Но точно так же казалось всем сиротам детского дома, по очереди бывавшим в гостях у директора. Каждый из них считал себя уникальным, не понимая и не принимая до конца, что так оно и есть на самом деле. Каждый начинал лучше вести себя некоторое время и даже тщательнее чистить зубы в холодном общем туалете. При всём желании директор детского дома, крепкий мужик-фронтовик, бывший беспризорник, не мог усыновить и удочерить многочисленных ничейных безымянных, несмотря на выправленные бумаги с прописанными мирскими именами, детей. У него были свои. Всё, что он мог дать сиротам, – это знание о том, что, кроме электрической розетки, нагревающей утюг и оставляющей ожоги, на свете существуют красивые хрустальные, и из них можно красивой ложечкой зачерпывать вкусное варенье, и запивать его вкусным чаем из хрупких чашек с алыми маками, а не из эмалированных кружек со сколами и инвентарными номерами. Он и сам не мог понять, плохо это или хорошо – подобное знание для этих не его *его* детей. И не слишком ли много печали для брошенных зверьков в послевкусии такого варенья, если мир их пока полон в основном боли? И не становится ли ещё больше и без того болезненная среда обитания, если ты уже знаешь, что не в твоём детском доме, а в просто доме, у других, не у тебя, есть ещё и варенье? *Своё* варенье для *своих* пусечек и котиков. Не для чужих безымянных Дусь. Не твоё. И пил, бывало, Николай Алексеевич горькую, захлёбывая её солёными слезами. Пил и выл. И понимал, что на войне было проще. Вот он, враг. Твоё дело правое, а с той стороны не такие же люди, а враги. Приказ есть приказ, а думать некогда и не о чем. Разве что о доме. Ну, то есть о Родине. А теперь? И писал он регулярно заявления об уходе, и снова и снова получал под нос фигу от вышестоящих инстанций, потому что прекрасный хозяйственник, добрый человек и у детишек детдомовских не ворует. Руку скорее себе отгрызёт, чем хоть кроху малую позволит от детской пайки откусить. И персонал подбирает хороший. Метания же и душевные томления – это, уж прости, Николай Алексеевич, не по нашему ведомству, а по давно устранённому институту, не учили тебя, брат, что ли, в ВППШ⁵ научному атеизму? И пусть мучился директор невозможностью всеобщего блага, но дело своё делал. *Своё* дело. Так что Дусе Безымянной, как и прочим сиротам этого детского дома, было немного легче, чем многим и многим сиротам других, *не его*, подобных учреждений, сочетающих в себе элементы и детского сада, и исправительной трудовой колонии строгого режима.

И хотя ходил Николай Алексеевич в школу на родительские собрания чуть не к каждому своему питомцу, но школа запомнилась Дусе не с самой приятной стороны. Чудесными для неё школьные годы не были. Благо только восемь классов. После которых именно он, их всеобщий и, значит, ничей благодетель, пристроил её в какое-то училище сельскохозяйственного профиля. Звёзд она с неба не хватала, животных любила и была слишком не от мира сего для города. В селе всё попроще. Но и эти размышления Дусю миновали в своё время. Всё вышло естественным образом. И лишь когда у неё появился сын, она вспомнила и абажур, и то, что долго не могла сформулировать своим не слишком предназначенным для этого непростого ремесла умом: «*Дом, родина – это кто-то свой*». Хотя не знала Дуся Безымянная, что в иных славянских языках слово «семья» фонетически идентично русскому «родина». Сын Лёшка и стал её домом и родиной. *Патологическая фиксация?* Так ли всё просто? Может быть ещё

⁵ ВППШ – высшая партийная школа.

проще? Для Дуся Безымянной – да. С Лёшкой стало всё проще. С ним и чай, и варенье имели свой смысл. И во враждебную когда-то для неё, а теперь наверняка и для него среду – школу – она не могла решиться его вписать. Да и разве можно представить себе, что твой дом, твоя родина, твоя семья от тебя уходит, пусть даже и на время? Это Николай Алексеевич был чужим домом, чужой родиной, чужой семьёй, потому был волен приходить и уходить, когда захочет, а её сын – он только её. Свой собственный. И дом, и родина, и семья, и человек, и божество, и не может от неё уйти в какую-то школу, как не может уйти от тебя *своя* собственная хрустальная розетка со *своим* вареньем. Дуся Безымянная являла собою пример той самой материнской любви, граничащей с безумием. Абсолюта любви, недостижимого, как пресловутый абсолютный ноль, и такого же ненужного, мало того – смертоносного для обычных людей. Особенно для своих собственных людей, которые однажды утром могут тебе сказать:

– Mamочка, дай мне моё свидетельство о рождении.

И с завёрнутым в газету свидетельством о рождении, где в графе «Отец» стоял прочерк, отправиться в соседнее село записываться в школу. Самостоятельно. Без тебя. Прежде ласково, но строго сказав, глядя на материнские хлопоты:

– Mam, я сам! Пожалуйста...

– Ты чей? – строго спросила его уже бабьего, несмотря на молодость, вида толстая директриса сельской школы. Именно в её кабинет Лёшка, вежливо постучав, аккуратно вступил предварительно отмытыми в ведре у технички босыми ногами. Не бегать же за каждой встречной и не теребить воздух глупым вопросом: «Тётенька, тётенька, где здесь в школу записывают?!» Везде есть кто-то самый главный. Или главная. В колхозе – председатель. Не потому, что громче всех орёт, а потому, что может «решать вопросы». А в школе кто может решать вопросы? Директор. Маленький Безымянный это отлично понимал.

– Свой собственный! – внятно и громко, но в то же время просительно и с какой-то совершенно неуловимой интонацией, являющейся и всю последующую жизнь одной из главных составных частей его харизмы, ответил маленький босой мальчуган. И улыбнулся уже тогда неизбывно трогательно и подавляюще властно одновременно.

Дуся не дождалась.

Жизнерадостная до никчёмности, любящая только сына и ещё немного животных и даже соседей, ничья женщина, лишь семь лет владевшая *своим*, вскрыла себе вены осколками бутылки от газировки. В детском доме подростки барышни (и даже юноши) частенько вскрывали себе вены, и каждый раз это ненадолго оживляло довольно скучное и скудное бытовое существование. Подростков, конечно же, тут же бинтовали, потому что надолго без присмотра в образцово-показательном детском доме не останешься, увозили их с громкой сиреной на карете «Скорой помощи» в больницу, и Николай Алексеевич лично носил гостинцы, узнавал у врачей, не надо ли чего. И долго-долго сидел только с ними, с чужими детьми. И разговаривал *только с ними*, о том, что жить надо изо всех сил, несмотря ни на что. И говорил, что нельзя лишать себя жизни самостоятельно, грех это, что бы там научный атеизм ни доказал, не тебе решать, когда окончить своё земное существование, потому что не твоё оно, а отца... кхм... этого самого. И даже кричал, что ладно бы погибнуть на войне, но вот так, от глупости, от ерунды, от чего-то – тьфу! – не стоящего, с чем любой здравомыслящий человек может справиться, потому что не даёт этот самый, которого большевики отменили, испытаний детям *своим* больших, чем по силам им! Становясь на некоторое время им, чужим детям, *своим собственным*, потому что никогда и нигде, кроме больницы, не кричал на детдомовских. Такую честь – повышать голос – он оказывал только своим родным детям, и детдомовские завидовали тому, что он кричал на родных детей, а на них – никогда. А сейчас, в больнице, кричал и сдерживал слёзы, вздрагивая, как от электрического удара, при простом и коротком слове «папа»,

сказанного ему не Пусечкой и не Котиком, а этими до боли *своими* чужими детьми. И потом, бывало, брал ненадолго к себе в свой собственный дом, договариваясь и с милицией, и с психиатрами, чтобы «не портили детям анкету». Бедный-бедный Николай Алексеевич, хозяйственный мужик, добрый человек, безмерно любящий детей, не видящий ни зги во мраке сиротской души и не разбирающий направления в бездорожье одинокого сердца. Когда-то Дуся поняла, что дешёвые эффекты ни к чему не приведут, хотя и не знала слова «манипуляция». Сегодня Дуся Безымянная поняла, что **всё своё** у неё уже **было** и больше **ничего своего** у неё **не будет**. Поэтому, вскрыв свои вены и абсолютно не почувствовав своей боли, она спокойно допила свой чай со своим вареньем. Легла на свою кровать и спокойно умерла своей собственной смертью, так же легко и беззаботно, как и жила с тех самых пор, как рождение сына примирило её с тем, что в не её доме есть не её абакур, хотя фамилия владельцев всего этого, не Дусино, такая же, как и у неё. Потому что особой фантазией директор не отличался и большинству безбумажных, возникших из небытия сирот давал свою собственную фамилию. И никакой отец небесный не явился к Дусе, чтобы вовремя накричать, и пусть даже дать подзатыльник, и объяснить на пальцах, что всё просто, как дважды два: *своя собственная* у человека только его собственная жизнь. А может, решил, что хватит уже с простодушной Дуси Безымянной. Потому и не явился. Зато послал соседа дядь Колю с кубиками, припасёнными для любимого всеми «выблядка» Лёшки в подарок из последней поездки «в раён», обнаружить бездыханное бескровное тело его матери на пропитанных кровью простынях.

Кто отличит вирус безумия от божьего промысла? Психиатр? Священник? Сосед-механизатор?

– Это... Парень, вот что... – дядь Коля ждал на крылечке. – Ты туда пока не ходи. К нам пока ходи. Тут это... Мамка там твоя умерла, – выговорил он наконец. И, хмуро пожевав губами, стал гладить мальчика по светлой голове.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.